

Александр Никонов



ТЕСТ ТЬЮРИНГА



Александр Петрович Никонов

Тест Тьюринга

Серия «Эксклюзивное мнение»

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=25388199
Тест Тьюринга / Александр Никонов: АСТ; Москва; 2020
ISBN 978-5-17-133223-5

Аннотация

Русский эмигрант Александр, уже много лет работающий полицейским детективом в Нью-Йорке, во время обезвреживания террориста случайно убивает девочку. Пока идет расследование происшествия, он отстранен от работы и вынужден ходить к психологу. Однако из-за скрытности Александра и его сложного прошлого сеансы терапии не приносят успеха.

В середине курса герой получает известие о смерти отца в России и вылетает на похороны. Перед отъездом психолог дает Александру адрес человека, с которым рекомендует связаться в Москве. Полагая, что речь идет о продолжении терапии, Александр неожиданно для себя оказывается вовлечен в странную программу по исследованию искусственного интеллекта под названием «Тест Тьюринга». Чем глубже Александр погружается в программу, тем меньше понимает, что происходит с ним и с миром и кто сидит по ту сторону монитора...

Содержание

Глава 00	8
Глава 01	19
Глава 10	29
Глава 11	39
Глава 100	47
Глава 101	68
Глава 110	92
Конец ознакомительного фрагмента.	105

Александр Никонов

Тест Тьюринга

«Мир – это задача, не имеющая решения».
Будда Шакьямуни лично автору.

«Я хочу рассказать вам эту историю, потому что... Не знаю, честно говоря, почему, но не рассказать ее я не могу, иначе все, что я сделал в жизни, было зря.

Я пишу свою историю ручкой на бумаге, а не настукиваю на компьютерной клавиатуре, и мне хочется это подчеркнуть. Я вообще буду подчеркивать множество мелких деталей, потом вы поймете, почему. Во всяком случае, я очень надеюсь на это...

Ручка чернильная. В школе я ненавидел чернильные ручки, потому что они все время текли, оставляя на пальцах фиолетовые пятна, которые плохо отмывались. Я их терпеть не мог, полагая, что они с головой выдают во мне маленького глупого ребенка. Хотя я и был ребенком! Но все дети хотят взрослости, и, наверное, поэтому любые проявления детскости им не нравятся. Черт его знает, я не психолог, во всяком случае не профессиональный, а только так, по работе иногда.

Тогда еще не было специальных наполненных чернилами одноразовых ампул с шариком на конце, которые просто вставляешь в ручку, продавливая шарик в глубь одноразовой ампулы, после чего с чистыми руками, горячим сердцем

и холодной головой начинаешь писать. Ручки приходилось заправлять. Я очень старался не запачкаться при том! Осторожно откручивал крышку темного ромбовидного флакончика с чернилами и, перевернув крышечку, не менее осторожно клал ее на стол, чтобы не испачкать столешницу. Потом брал промокашку, накладывал сверху на чернильницу, чтобы не испачкать пальцы о краешек горлышка со стеклянной резьбой, протыкал промокашку ручкой, погружая ее в фиолетовые глубины и, придерживая ручку левой рукой, правой начинал работать пипеткой или крутить поршень – в зависимости от конструкции наборного механизма. Потом, вынув ручку, я аккуратно вытирал ее мокрый конец той же промокашкой, через которую протыкал. И все равно умудрялся испачкать пальцы! Поэтому чернильные ручки я не любил, но почему-то в первом классе нас заставляли писать именно ими, а не шариковыми ручками. Кажется, считалось, что шариковая ручка испортит ребенку почерк, а чернильная, напротив, позволит его выработать. Не знаю, у меня так и не выработался, мало кто мои каракули разбирает. Мама, помню, смеялась: «Быть тебе врачом с таким почерком. Пишешь, как доктор, ни черта не понять!»

Врачом я не стал...

Кроме того, эти перья почему-то все время царапали бумагу, вызывая у меня почти физические мучения. Знаете, так иногда бывает – у некоторых людей возникает произвольная гримаса отвращения, и бегут мурашки, когда они

слышат звук пальца, скрипящего по стеклу, или шуршание наждачной бумаги по дереву либо ржавчине. Вот у меня такие ощущения были от корябающего бумагу пера! Идеосинкрзия – столь сложное слово я узнал уже в зрелом возрасте, а тогда просто думал, когда же этот кошмар кончится, и нам разрешат писать шариковыми ручками.

Но потом... Потом что-то случилось с организмом, и он захотел перьевую ручку, став уже взрослым. Дорогую перьевую ручку. Красивую. С золотым пером. Которая гладко пишет по хорошей глянцевой бумаге. Писать которой – одно удовольствие. Или даже целых два! Она не пишет, она летит по бумаге, скользит по листу, словно легкая яхта по лагуне... Вы когда-нибудь испытывали это ощущение, это удовольствие от письма чернильной ручкой по блестящей бумаге?

Я вот сейчас смотрю на подсыхающие чернила в строке и даже, кажется, чувствую их слабый сладковатый запах. Или мне это кажется? В школьные годы чернила точно пахли. Не знаю, пахнут ли современные чернила и может ли их унюхать мой постаревший нос. Наверное, мне сегодня этот запах только кажется... Хотя моя мама говорила, что все наши чувства без исключения – это наша чистая кажимость. Они нам только кажутся. В реальности их нет. Она так говорила, когда я был маленьким и плакал, чтобы утешить меня. А еще она была физиком, и это было частью ее мировоззрения. Я не соглашался с ней маленьким. Повзрослев, стал соглашаться,

точнее, механически кивал – просто потому что привык к этой мысли, и от этого она стала казаться мне верной. Но это никогда не мешало мне остро ощущать мир. Мне нравилось его ощущать. Испытывать его простые удовольствия. Вот хотя бы такие элементарные, как разглядывание отблеска от желтой лампы в быстро подсыхающих чернильных буквах. Или вкус и запах чашки крепкого кофе в тонком фарфоре.

А вы какие удовольствия испытывали? Или страдания? Вы любили? Вы теряли? Отдача от крупного калибра толкала вас прикладом в плечо – сильно, почти больно? Запах утреннего сырого леса вливался в вас потоком при вздохе полной грудью?

Ну, хотя бы вкус масляных горячих пончиков, щедро присыпанных белоснежной пудрой, помните?..

Я тоже.

Поэтому я и хочу успеть рассказать вам эту историю. Потому что я такой же, как вы, хотя плохо представляю себе, кто такие «вы», и как бы вы смогли это прочесть...»

Глава 00

Как пистолет оказался в моей руке?

Не сразу, конечно! Бегать в толпе с «Глоком» – не самое умное занятие...

Просто этот затылок в толпе я вдруг заметил и почему-то опознал. Понятное дело, нам фотографии затылков не демонстрируют. Только лица – фас и профиль. Но когда я его увидел, между лопатками почему-то сразу пробежали мурашки, а рука сама потянулась к пистолету. Я поймал этот мышечный позыв правой руки к движению и усилием воли остановил его в самом начале, поскольку вокруг была толпа, а я видел только затылок. Но по знакомому характеру холодных мурашек, бегущих по спине, уже знал, что не ошибся – моя интуиция всегда проявляла себя именно так, и никогда не подводила, подкидывая мне готовые неочевидные ответы на трудные вопросы. Так было с самой юности, это трудноописуемое ощущение холодной дрожи, начинающейся где-то в районе лопаток и подбирающейся к затылку, царапающее затылок ледяными коготками, оно всегда свидетельствовало о том, что в сознании сейчас всплывет ответ, который уже родился где-то в теле или животных пучинах мозга, и я – хозяин тела – вот-вот его получу в виде депеши.

Да, всегда было именно так – сначала предвестники в виде телесных ощущений, они были словно звоночком почта-

льона, а потом — вспышка прибывшей в мозг телеграммы, внезапное озарение.

В этот раз промежуток между мурашками, быстро сменившимися холодной щекоткой затылка, и осознанием не был долгим — я сразу понял: это он! Но даже зная о безошибочности своего «почтальона», все-таки не позволил себе поверить сразу, в конце концов, я видел только затылок, и мне нужно было убедиться, увидев лицо. Поэтому рука только дернулась, а я просто пошел за ним, повернув в ту же сторону, что и привлечший мое внимание человек.

Какое-то время мы шли друг за другом, и я сверлил его затылок глазами. Видимо, сверлил так сильно, что он почувствовал себя неуютно и в какой-то момент обернулся. Не встал к витрине, чтобы в ее отражении попытаться разглядеть, что происходит сзади, а просто и откровенно обернулся. И пока он оборачивался, я успел отвести взгляд в сторону с отсутствующим выражением лица и даже изменил темп ходьбы, поменял весь рисунок движения, если вы понимаете, о чем я говорю, став более расслабленным. Он не должен был меня выделить из толпы. Мне кажется, у меня получилось. И я до сих пор не знаю, вычислил он меня в тот момент в толпе, просканировав улицу взглядом, или сделал это позже, но скорость на всякий случай прибавил, и это было плохо, потому что мне тоже пришлось прибавить, что сразу выделило нас обоих из толпы, как две квантово связанные частицы. И значит, скоро, очень скоро он меня увидит уже

без всяких сомнений.

И он увидел...

— ...а что вы почувствовали в этот момент?..

Господи, как же пошло это прозвучало! Я слышал этот вопрос десятки, если не сотни раз из уст психологов и психотерапевтов в голливудских фильмах, в анекдотах, в обыденной речи — причем в последнем случае непременно с нотками иронии или сарказма.

— Тебя это волнует? Хочешь поговорить об этом? — С насмешливой улыбкой спрашивала меня жена, когда замечала непроизвольно вспыхивающее на моем лице недовольство в ответ на просьбу вынести мусор.

Да, я не люблю выносить мусор, застилать постель, гладить белье! А какой мужчина это любит? Когда тебе предлагают такое — вынести мусор, например, — возникает ощущение бесцельно проводимой жизни, разве не так?

Короче, это уже общее место — про «хотите поговорить об этом?», про «что вы почувствовали?», — набившие оскомину штампы из психоанализа, знакомые каждому по кино, вошедшие в анекдоты и поговорки...

Я постарался не показать вида, но она буквально по мгновенной тени, пробежавшей по моему лицу, поняла мои чувства — не те, о которых спрашивала, а сиюминутные, вызванные ее казенной фразой. И смутилась. Конечно, тоже постаравшись не показать этого, но ведь и я по чуть изменивше-

мусья выражению ее лица, по дрогнувшим бровям, заметил тень этого смущения. Джейн поняла, что даже не самой своей пошлой голливудской фразой (в конце концов, стоматологи тоже говорят «откройте рот», и никого это не смущает), а именно интонацией, в которой прозвучало чуть больше равнодушия и формализма, чем следовало, вызвала у меня мгновенное отчуждение. А значит, она сработала непрофессионально.

Возможно, в тот момент она задумалась о чем-то своем, потому и допустила на миллиграмм больше равнодушия в свой вопрос. Но в любом случае она сразу поняла свою профессиональную оплошность, включилась и, к ее чести надо сказать, больше такой ошибки не повторяла. Но у меня вопрос засел. И при случае я его задам – о чем же постороннем она в тот момент задумалась? Может быть, у моего психолога тоже проблемы? Вот ведь странно, правда? У человека, решающего чужие проблемы, могут тоже быть проблемы. А ведь им ни в коем случае нельзя этого показывать, как нельзя диетологу быть толстым, а дантисту – ошеломлять клиента кривыми зубами и запахом изо рта.

Надо отдать ей должное – она забурилась обратно в контекст нашей беседы так быстро, наверстывая мгновенную оплошность, что я почти позабыл свою мелькнувшую вдруг безумную мысль – встречно начать терапевтировать моего психотерапевта вопросами о ее личной жизни и о том, что она чувствовала.

– Да, прозвучало немного формально, – легкой полуулыбкой Джейн растопила тот кристалл внутренней собранности и внутреннего сопротивления, который во мне было возник. – Но этот вопрос я задаю тысячи раз сотням людей. Он – просто инструмент, как скальпель у хирурга... Поэтому повторю. В тот момент, когда вы выстрелили, точнее, когда поняли, что случилось, – что вы почувствовали? Что ощутили?

Я нахмурился, и это не осталось без ее внимания:

– Вам трудно это вербализовать?

Хм. Трудно ли мне это вербализовать? Трудно ли мне облечь это в слова?

Нет. Не трудно.

Пустота – вот что я тогда почувствовал. Какая-то гулкая, бездонная, бессмысленная уничтожающая пустота...

Когда я увидел провода, сомнений более не оставалось, тем паче, что мои руки уже были выброшены вперед, он был на прицеле и оставалось только спустить курок. Я плавно потянул пальцем, а дальше почему-то все пошло как в замедленной киносъемке, и я, помню, даже успел подумать: интересно, а у него тоже кинолента приостановилась, он тоже видит все замедленно – как я?

Первая пуля медленно вышла из ствола и поползла вперед, так же медленно ствол «Глока» ушел вверх на отдаче, а вокруг дульного среза повисло почти незаметное облачко порохового дыма. Я уже знал, что не промахнулся, уже чувствовал, куда она придет, первая пуля. Но смотрел на все,

как зритель, так что на суде потом можно было бы совершенно честно сказать, что это не я стрелял. Я вообще не имел ко всему происходящему никакого отношения – кто-то отдельный и маленький внутри меня просто глядел на мир глазами изумленно-равнодушного зрителя.

Ствол сходил вниз, корректируясь по направлению привычной мышечной автоматикой рук (я их работы не чувствовал, я вообще ничего не чувствовал и не ощущал), нехотя выплюнул еще одну пулю, и она поползла вперед за своей первой подружкой, которая уже сделала свою правильную работу, прочертив внутри мишени кровавый канал. За долю секунды между двумя плевками, длившуюся, по ощущениям, минут пять или десять, положение тела чуть изменилось, и я видел, что вторая пуля прочертит внутри него прямую, не параллельную первой. Это показалось мне правильным. Мелкие капли красной жидкости, выбитые первой сестричкой, еще недвижно висели в воздухе редким красным туманом, а сейчас рядом с ним взметнется еще одно похожее облачко. И это тоже правильно.

Но потом, в какой-то момент что-то в мире изменилось. Нет, картинка оставалась все такой же замедленной, но отчето-то мир перестал быть правильным. И потому внутренний зритель во мне не сильно удивился, когда вторая сестричка, прошив в мишени короткий канал, потому как ширины тела не хватило на длинный, ушла дальше, почти не изменив формы, отразилась от блестящей гранитной стены (выбив из нее

небольшое облако белой крошки) и, поменяв угол, ушла влево, в толпу. Ушла косо, вниз. Это хорошо, мелькнула мысль, по ногам.

Но не все люди высоки. И у некоторых там, где ноги, находится голова.

Девочка в голубом пальто только поворачивала голову на звук первого выстрела – звук, который я в своем замедленном мире вообще не слышал, я вообще никаких звуков не слышал, кино было немым, – а вот второго выстрела она уже не слышала. Вторая пуля равнодушно прочертила в ней еще одну короткую рваную траекторию – ровно по размерам детской головы. Она вошла в правый глаз и вышла в районе затылка, ударившись далее в дамскую сумочку ее матери. Откуда ее потом и достали криминалисты.

В тот момент, когда уже деформированная, как положено, пуля вспарывала сиреневую кожу сумочки левее желтого замка, вздымая последнее облачко на своем пути – облачко пудры из разбитой пудреницы, – медленный мир закончился, и события снова потекли в обычном темпе. Включились звуки – крики людей, полицейские сирены и выделяющийся на всем этом фоне пронзительный, как раневой канал, крик матери. Он включился чуть позже, когда она поняла, что произошло. А до этого момента я успел увидеть, что мертвые руки моей мишени не успели замкнуть провода. А если бы успели, я бы не сидел сейчас перед уставшим полицейским психологом с тонкими морщинками у глаз, которые

так огорчают женщин, и не было бы вопля матери, и криков всех этих людей. Как мне сказали, в торговом центре в тот момент было примерно 16 тысяч человек. Чуть больше. Или чуть меньше...

И вот теперь она спрашивает, что я почувствовал в тот момент. А что я мог почувствовать? Что я спас 16 тысяч человек? Или что убил ни в чем не повинную девочку, которой до очередного дня рождения оставалось три дня и которая пришла с мамой в магазин, чтобы выбрать подарок?

Да, на суде меня, конечно, оправдали. Всем, включая прессу и присяжных, все к тому времени было уже ясно, хотя поначалу отдельные весьма демократические газеты попытались, пользуясь случаем, извалить полицейский департамент Нью-Йорка в грязи. Но потом, когда вскрылись эти 4 тонны взрывчатки под несущими колоннами, а также дистанционный взрыватель в руках мишени, демократические вопли разом поутихли. Я даже чуть не стал героем. И стал бы – если бы не эта девочка. И не ее беременная мать, у которой на почве потрясения случился выкидыш.

Конечно, адвокаты противной стороны, покопавшись в моем грязном белье – а у кого его нет? – пытались сыграть на том, что-де полицейский офицер просто расист, допускал высказывания, ненавидел арабов... но всем, включая присяжных, было ясно, что это просто стандартный адвокатский ход, который в данном предельно понятном случае ни к чему не приведет. Тем более что жертва оказалась хотя и му-

сульманином, но не арабом. А шить мне в тщетной надежде непонятно на что ксенофобию и нелюбовь к «понаехавшим» было бесполезно – я и сам в этой стране «понаехавший». А что, по русскому акценту незаметно? Если прислушаться, он есть...

В общем, ситуация была ясной всем: другого выхода у полицейского, находившегося на расстоянии нескольких метров от сближающихся проводов, не было. Хотя и толпа, и дети... Тем более, что обе пули попали в цель, то есть все было сделано детективом профессионально и чисто. А то, что одна из них цель пробила по короткой, срикошетила и ушла влево вниз... предвидеть такое невозможно. А даже если и возможно, все равно нужно было стрелять, как правильно сказал один из консервативных, но почему-то уважаемых обозревателей. И после длительных обсуждений на всех шоу страны это была вынуждена признать почти вся Америка. Ну, за исключением пары сумасшедших, которые всегда есть и имеют право на мнение: это свободная страна!.. Потому что на весах судьбы 16 тысяч женщин, детей, стариков и мало кому интересных в политкорректном обществе белых мужчин всегда перевесят одну маленькую детскую жизнь.

– Мы поставим ей памятник! Она такая же героиня, которая ценой своей жизни спасла тысячи людей, – сказал один из правых обозревателей на телешоу.

И либеральная ведущая, видно недавно покинувшая университетский кампус, тут же спросила его:

– А этому полицейскому, – она даже не назвала меня по имени, – этому стрелку мы тоже поставим памятник? Ее убийце, пусть и невольному?

Эксперт ничуть не смутился и отреагировал мгновенно. Мне показалось, он даже понял, почему она употребила слово «стрелок» вместо имени – потому что стрелками называют устроителей масс-шутингов – массовых расстрелов в школах, магазинах и прочих людных местах. Нет, она не назвала меня преступником, боже упаси, это даже намеком нельзя было назвать, просто у кого-то могла где-то на подкорке подсознательно отпечататься ассоциативная связь меня с массовым убийцей. Хотя массовым убийцей был тот парень, а я массовое убийство как раз предотвратил.

– Да, – мгновенно отреагировал приглашенный эксперт, прямо взглянув в глаза журналистке. Если тебя прижали к стенке, нужно делать вид, что ничего не случилось. А его даже никто и не прижимал. Почти. – Да! Это будет памятник им обоим! И они будут держаться за руки. Или, лучше, смотреть друг на друга, протягивая друг к другу руки...

Это было красиво, черт подери! Даже мне понравилось. И понравилось Америке. Она простила меня, не успев даже сильно на меня обидеться. Простила за девочку, за выкидыш.

Но не я себя. Ведь это моя пуля ее убила. Это я ее убил... Хотя, конечно, в глазах общественности укрепили мнение, что ее истинным убийцей был не я, а тот террорист, имя ко-

торого полоскали газеты, – Санал Эврим.

Глава 01

Будильник прозвонил традиционно в шесть. Я машинально захлопнул его рукой. Он был мне не нужен. Во-первых, я уже не спал: годы работы в полиции приучили просыпаться за две минуты до звонка – практически всегда. Во-вторых, мне сегодня не нужно было идти на службу. И вчера не нужно. И позавчера.

После всего случившегося меня сначала отстранили на время расследования, потом дали большой отпуск – не то в награду, не то с глаз долой. И еще до отпуска отправили к полицейскому психологу. К которой я и ходил почти каждый день уже вторую неделю. И не сказал бы, что с большим успехом. В конце концов, если я сам не могу разобраться в себе, почему это должно получиться у другого человека? И, видимо, в какой-то момент она это почувствовала. Или мне показалось, что почувствовала.

– Вы странный человек, – проронила она как-то между делом, не по ходу сеанса, факультативно.

– Я русский, Джейн, возможно, поэтому... Другой типаж.

– Не думаю. Кстати, у вас почти нет акцента. А я русский акцент хорошо знаю, у меня некоторые знакомые и клиенты...

– У меня вообще нет акцента! – перебил я. И соврал. Когда я волнуюсь, акцент все-таки проявляется. Как хромота

в моменты усталости от перенесенного в детстве полиомиелита.

– Неважно, – согласилась она. – Пусть нет. Давайте начнем...

Я не помнил, о чем пошел тогда дальше разговор, просто лежал в кровати, уставясь в потолок, и думал, почему вдруг я так среагировал на ее слова о том, что у меня «почти нет акцента». Мне никогда это не было важно. Даже если бы у меня и был какой-то заметный акцент, какая разница, это же Нью-Йорк! Здесь норма, скорее, наличие акцента, а не его отсутствие. Почему же меня это... я даже не могу сказать, что задело, ибо никаких эмоций я не испытал, просто выпалил свою фразу и все. А почему выпалил?

Однажды Джейн сказала, что люди могут не чувствовать эмоций, которые испытывают. Меня это удивило, и поначалу я счел сию фразу обычной психологической завиралкой, на которые горазды психологи и психотерапевты (кстати, в чем между ними разница?). Возразил:

– Не знаю, я всегда чувствую то, что испытываю!

– Возможно, – кивнула она. – Но опыты с гипнозом показывают, что... Вот представьте себе, человека погрузили в гипноз, внушили страх от какой-то ситуации, ну, я не знаю, например, он увидел медведя в лесу! А потом гипнотизер щелкает пальцами, и человек мгновенно просыпается. Никакого медведя, никакого леса, он в мягком кресле, в тихом кабинете. Бояться нечего! Но его гормональная система, его

гуморальные каналы не могут же сразу...

– Какие каналы?

– Гуморальные. Это один из самых древних каналов регуляции в организме – не по нервным проводам, когда быстро отдается команда в виде электрического сигнала, а химическими веществами через жидкие среды организма – через кровь в основном. Впрыснули вам в надпочечники адреналин, например, и он плавает, пока его организм не переработает печенью, мышцами... Инерционная система. В общем, у человека спрашивают: «Как вы себя чувствуете?» Он отвечает: «Нормально». И действительно, бояться ему нечего. Он спокойно сидит в кресле в кабинете. Но при этом его всего колотит, зрачки расширены, тело продолжает испытывать страх. Который человек не чувствует, не осознает!

Хм, может быть, Джейн права, и я просто не отдаю себе отчета в том, что ситуация с акцентом меня задевает? Иначе зачем я так старательно его вытравливал, приехав в Америку?..

А еще я думал о том, что рядом со мной в кровати лежит моя жена. И тоже не спит. Не спит, потому что не сплю и сверлю глазами потолок я. Интересно, что раньше она даже не слышала этот будильник, просто продолжала дрыхнуть, пока я вставал, умывался, брился, собирался и уходил. А теперь просыпается, потому что просыпаюсь и недвижно лежу я. Просыпается несколькими секундами позже и старательно делает вид, что спит. А я делаю вид, что в это верю...

На сковородке уже шипели два яйца, когда я вдруг вспомнил, что забыл сок, и снова пошел к холодильнику. Что мне нравится в Америке, так это широта масштаба! Вот эти двустворчатые холодильники. Вот это «пошел к холодильнику». В России я мог только повернуться к холодильнику на нашей тогдашней хрущевской кухне. И никогда ни у кого я не видел там двустворчатых холодильников. Не знаю, может, сейчас появились?.. Нет, конечно, и в Нью-Йорке полно дерьмового жилья. Но кто мешает поселиться в Нью-Джерси? Или даже в Пенсильвании? Я знаю людей, которые каждый день ездят...

В кухню вошла жена и бросила на меня испытующий взгляд. Этот ритуал повторялся с момента моего рокового выстрела каждое утро.

«Как ты?» – звучало в ее немом вопросе.

«Нормально», – всем своим видом молча показывал я, будто выстрела не было. Ничего не было...

И мы оба знали, что врем.

– Сегодня опять пойдешь к своему психологу? – Лена потянулась за столовыми приборами. Тарелки уже стояли на столе.

– Да. Сегодня сеанс... Да и куда мне еще ходить? – Я аккуратно разделил яичницу и разложил по тарелкам.

– Ну хочешь, давай я возьму отпуск, и мы съездим...

– Да брось! Кто тебе даст отпуск после трех месяцев ра-

боты! Которую ты искала два года. Что за бред. Ничего со мной не случится.

– Тебе нужна смена обстановки, «не случится»... Неужели ты не понимаешь, что никакой психолог тебе не поможет! Я же тебя знаю, – она размахивала двумя вилками, а я ждал, когда одну из них она передаст наконец мне. – С ней ты только варишься и крутишься снова и снова во всем этом. Вместо того, чтобы все это смыть к чертям новым местом, новыми людьми, новыми впечатлениями...

– Ну, люди-то меня теперь везде узнают, на улицу страшно выходить после того, как моя рожа почти месяц мелькала по всем экранам и газетам... Вилку дай.

– Что? На... Но ты же понимаешь, что я права! Здесь тебе все об этом напоминает, ты маешься от безделья. Того гляди, телевизор начнешь смотреть.

– Ну, до этого я уж не опущусь. Я же не американец... Кстати, у меня есть акцент?

– В смысле? Какой акцент? О чем ты вообще говоришь? С тобой невозможно серьезно...

– Русский акцент. Когда я на английском говорю, ты можешь уловить акцент?

– Не знаю, – Лена взяла солонку, подержала и поставила обратно. Она делала так уже вторую неделю. Каждое утро. И это, вместе с ранним просыпанием, было ее второй странной привычкой, появившейся за столь короткий срок. – По-моему, нет у тебя акцента. Мне трудно сказать. Я не носитель.

Но мне кажется, нет. А что?

Я проводил глазами отставленную ею обратно солонку, так и не проронившую ни одной белой крупинки.

— Моя психологиня сказала, что у меня по этому поводу комплекс, — соврал я. Ну, не совсем соврал, просто сильно преувеличил. Додумал, скажем так.

— Правда? — Лена не удивилась. Спросила механически. И это означало, что вопрос моего акцента ее ничуть не волнует. Как он не волновал никого и никогда в этом городе. И меня самого тоже до позавчерашней встречи с Джейн. — Она так сказала?

— Ну, как сказала... Намекнула. А может, я сам это выдумал. Когда случайно разговор коснулся.

Ленка на секунду задумалась, перестала жевать, вилка подвисла в воздухе.

— Если у тебя скрытая тревога по поводу твоего акцента, это может означать, что ты не удовлетворен собой и своей жизнью, потому что подсознательно считаешь себя хуже других.

И снова начала есть в том же обычном темпе. Это было чисто теоретическое умствование доморощенного психолога, имеющего в анамнезе вместо диплома прочитанную стопку популярных книг по психологии и полпуда женских журналов с тестами. Если бы Лена и вправду думала, что я несчастен с ней, разве сказала бы об этом? И разве стала бы с тем же спокойствием поглощать несоленую яичницу?..

– А почему ты перестала ее солить?

Ленка на долю секунды сбавила темп, отправила последний кусок в рот и быстро взглянула на меня. Что-то изменилось в ее лице, но я не понял, в какую сторону.

Она положила вилку.

– Ну, во-первых, соль вредно, и давно надо было... Во-вторых, невкусного меньше съешь.

Я не перебивая смотрел на нее, ожидая главного. Ведь привычка эта появилась у нее только после всего случившегося со мной.

– Наконец, это с моей стороны... ну как бы жертва судьбе. Чтобы у тебя все закончилось хорошо. Ты же знаешь, как я люблю все соленое. Маленькая такая глупая жертва. Я даже свечку в церкви поставила, хотя не верю ни во что, как ты знаешь...

Я не успел ничего ответить, потому что раздался тот самый звонок, изменивший мою жизнь.

Я просто протянул руку и взял трубку. Вообще-то, приехав в Америку, мы начали приучать себя жить, как американцы. В частности, не брать трубку, делегировав эти полномочия автоответчику. Нас нет дома! Но если звонок важный, мы есть – ну, если, конечно, мы действительно есть. Очень удобно. Очень по-американски.

Но в тот момент я почему-то поступил по-русски – просто протянул руку и сказал «да». Наверное, хотел уйти от разговора о каких-то мифологических жертвах судьбе.

Не знаю, что было бы, если б я не поднял трубку. Потому что звонок был из России, и звонил мой брат. Не родной. И не двоюродный. А не пойми какой – сводный брат. По отцу, которого я видел всего несколько раз в жизни. Брат из провинции, а они там автоответчиков пугаются. Да и в Москве автоответчики отчего-то не прижились, пес его знает, почему... Не прими я тогда звонок, ну наговорил бы он автоответчику, если бы не растерялся, что умер отец. И повесил бы трубку, попросив перезвонить и наверняка не догадавшись дать точный адрес, будучи уверенным, что у меня есть его телефон и все координаты: захочу прилететь на похороны – перезвоню и все уточню – и дату, и место. Но я бы не перезвонил, у меня нет его телефона: записная книжка – толстая, зеленая с разными вложенными потрепанными листочками, полустертыми цифрами и уже потрескавшейся в разных местах пластиковой обложкой, которую много лет назад я привез из России и которую вел еще с эпохи домобильной связи, – сгорела десять лет назад вместе с другим ненужным барахлом, когда в гараже начался пожар, каковой, слава богу, вовремя заметили и потушили. Я, помню, даже не огорчился тогда. Гори они синим пламенем, все эти записные книжки, фотоальбомы, грамоты и дипломы из прошлой жизни, пропади они пропадом вместе с той жизнью! Мы ведь и уехали для того, чтобы начать новую жизнь. И даже хорошо, что почти вся прошлая жизнь оказалась слизанной очистительным пламенем.

Хотя сейчас мне даже кажется, что брат и не надеялся на мой приезд. Точнее, надеялся, что я не приеду, и позвонил формально, для очистки совести. Не мог же он не сообщить о смерти отца, вот и сообщил! Может, как раз и рассчитывая на автоответчик! Я, мол, наговорю, а он наверняка не попрется из Америки в Тверь хоронить того, кого не было в его жизни. Точнее, присутствовавшего в его жизни только слезами матери. Да я бы и не поехал, наверное. Не велико удовольствие...

В общем, не думаю, что захотел бы приехать на похороны, не будь я в этом бессмысленном «отпуске по расстройству психики», как рискованно пошутила однажды Джейн. В конце концов мой папенька... Я его видел всего несколько раз в жизни. А вот слезы матери видел часто. Слишком часто, чтобы срываться и лететь на другую половину планеты с целью увидеть этого человека в пятый или шестой раз в жизни. Но...

По моему короткому вопросу – «когда?» (его почему-то вечно задают люди, которым по телефону сообщили о чьей-то смерти) – Ленка поняла, что умер отец: просто больше у меня там никого не оставалось из близких, хотя этого человека я бы к близким относить не стал. Поэтому до того, как я положил трубку, я уже знал, что она скажет. И понимал, что соглашусь. Вот только мне нужно будет найти для себя причину этого согласия – не признаваться же самому себе, что мне действительно стал тошен этот город, это безделье

и эти вызывающие внутренний протест походы через день к полицейскому психологу.

Но сегодня придется к нему еще раз пойти...

Глава 10

– ...не знаю, когда мы теперь встретимся, Джейн, у меня сегодня вечером самолет. Мне нужно срочно вылетать в Россию по семейным обстоятельствам. У меня умер отец и...

– Это очень хорошо!.. Ой, простите, я не то хотела сказать... В смысле, я очень соболезную, но вам действительно сейчас лучше сменить обстановку – пусть даже так. Сама хотела вам это предложить. Вы, кстати, про отца практически ничего не рассказывали, из чего мне показалось... Впрочем, неважно уже. Как вы полагаете, вы – хороший сын?

Во! Сразу взяла быка за рога! Поняла свое упущение – про отца-то мы никогда и не говорили!

– Нет. Я никакой не сын. Вообще. Нулевой. Не вышло из меня сына. И вы наверняка сделали правильное заключение о моем отце. Но жена настаивает, чтобы я поехал. И кроме того... – Я на мгновение запнулся, подумав, говорить ей или не говорить о том оправдании, которое я придумал для этой поездки, помимо дешевой смены декораций вокруг моей играющей драму души.

Она молчала и смотрела на меня. Эти психологи умеют выдерживать паузу.

– Ладно, – я махнул рукой, решив не говорить.

Джейн демонстративно взглянула на часы на своем запястье. Вообще-то ей не нужно было даже шевелить рукой:

большие настенные часы с белым ярким циферблатом и черными отчетливыми стрелками висели у меня за спиной – так, что она всегда видела время, когда хотела его знать, не отвлекая внимание клиента и не вызывая у него нервного ощущения, будто его тут терпят и не чают, когда кончится время сеанса. Наверное, так часы вешают все психотерапевты, берущие почасовую оплату, пускай даже и из полицейского департамента.

– У нас с вами есть еще почти час времени. Что вы хотели сказать? «И кроме того...»

Я вздохнул. И за что мне все это?

– Джейн, вам это правда интересно?

– Нет.

Я быстро взглянул на ее лицо. Оно по-прежнему ничего не выражало.

– Но это важно проговорить вам, офицер. Для этого вы сюда и приходите.

– Странный вы психолог, Джейн.

– А вы много психологов видели, чтобы сравнивать?

Я заерзал в кресле:

– Вы правы. Практически не видел. А такие вот сеансы для меня вообще впервой. И не сказал бы, что я получаю от них удовольствие, – сказал я и подумал: не слишком ли грубо получилось?

Но ее лицо было столь же спокойным:

– А врач и не должен доставлять удовольствие. Он просто

исправляет ваше тело, которое вы запустили. А психолог – вашу душу, которую вы запустили не менее. И периодическая уборка душевного мусора важна не менее, чем уборка телесных шлаков... Так как вы хотели продолжить фразу? «И кроме того...» Что вам не дало продолжить? И что вы чувствуете в данный момент?

– Да ни черта я не чувствую!

– Кроме раздражения. А оно откуда? Я ведь задала простой вопрос. Но он вызвал у вас какие-то эмоциональные затруднения. Почему? И что вы все-таки хотели сказать?

Я нарочито глубоко вздохнул, и этим вздохом как ластиком стер карандашные наброски последних фраз и невнятных эмоций, в которых не хотел разбираться.

– Да, Джейн, как вы уже поняли, папу я не любил! Потому что любить было некого. Не было в моей жизни отца. Но вы правы, отчего бы не развеяться и не съездить на его похороны! И кроме того...

Я выделил последнюю фразу голосом и снова задумался: говорить или нет?

– Кроме того, Джейн, мне сообщили, что... – Тут мне в горло неожиданно попала першинка, которая заставила про-
чистить горло, и я мгновенно подосадовал на эту случайность, которая могла быть истраткована как неслучайная. – Что он завещал похоронить себя в могиле матери.

В изгибе ее бровей я увидел недоумение. И пояснил:

– Моей матери.

– Погодите, – Джейн изменила позу. – Насколько я понимаю, ваши родители развелись, когда вам было совсем мало лет...

– Шесть. Или семь.

– И с тех пор отец в вашей жизни практически не появлялся. Поэтому когда вы выросли, а скорее всего и раньше – в период пубертатный, юношеский, то есть где-то на излете школы или сразу после ее окончания вы решили разыскать его и...

– Да. Так и было. Наверное, это обычная история.

– Обычная... – кивнула Джейн. – Разыскали, но отношения не сложились, он не выказал особого интереса и желания к дальнейшим встречам.

– У него уже была другая семья, – сказал я и вдруг поймал себя на том, что эта фраза выглядит, как оправдание, а чего мне хотелось бы в последнюю очередь, так это оправдывать человека, к которому... Которого я сегодня полечу хоронить.

– Погодите. – Джейн протестующе подняла руки, как будто сдаваясь. – Погодите! Это я поняла. У него была уже много-много лет другая семья, возможно, дети...

– Да. Сын.

– ...а он завещал похоронить себя вместе с первой женой? – Я впервые за много встреч увидел на ее лице подобие удивления. И сам удивился и растерялся: как я сейчас буду объяснять это ей, если сам не знаю, почему он так поступил?

Единственное, что я знаю точно, — именно эта его просьба склонила колеблющиеся весы моей решимости взять билет на рейс «Нью-Йорк — Москва», до отправления которого оставалось около шести часов времени.

Однако Джейн не стала спрашивать, поняв по моему лицу, несшему, видимо, отпечаток недоумения, что ответа я все равно не дам. Нельзя дать то, чего не имеешь.

Но ее лицо изменилось тоже. За те бесконечные часы и дни, которые мы вместе провели, я никогда не видел у нее такого лица. И сейчас не мог считать, что оно может означать.

Длинное желтое корыто нью-йоркского такси в аэропорт вел сикх. Такой классический сикх с классическим индийским акцентом, в классической черной чалме. Чалма упиралась верхушкой в потолок машины, и меня это почему-то раздражало. Какого черта, в самом деле!

Часть улиц и мостов как всегда была в вечных нью-йоркских ремонтах, поэтому я выехал заранее, и пока чалма шоркала о мягкую обивку крыши, а за окнами проплывали создававшие пробки оранжевые загородки ремонтов, я вспоминал последние минуты прощания с Джейн. Почему-то я был уверен, что больше с ней не увижусь. И более того, мне казалось, что и она понимает это. Хотя пониманию такому неоткуда было взяться. Я улетал, ну, на неделю максимум. Что мне там особо делать, в этой стране, откуда я бежал, ста-

рательно оставив в ней все? Включая еще живого тогда отца и тоскливую могилу матери на старом тверском кладбище.

Последние сорок минут перед расставанием мы с Джейн говорили о моем отце, хотя я думал, что рассказать мне о нем совершенно нечего. Но Джейн спрашивала, и я отвечал, сам удивляясь тому, сколько знаю о нем. И параллельно понимая, что знаю все это только по рассказам матери. Которая, как оказалось, довольно много о нем рассказывала, упоминала, вставляла в меня, как начинку в пирожок, которая вот теперь вылезла. И еще я вдруг вспомнил, что всегда не хотел о нем слушать, отмахиваясь, недоумевая, злясь, уходя от разговора и из дома. Это было так давно! Я про это совершенно забыл! А вот оказалось, матери все-таки удалось! Удалось навставлять в меня на сорок минут рассказа и еще на столько же хватило бы. Я говорил и говорил, а Джейн только направляла мою почти безостановочную речь, подбрасывая небольшие реплики или вопросы. А за пять минут до расставания открыла ноутбук и начала копаться там, что-то ища.

– Я вам уже ляпнула как-то, что вы сложный пациент, чего практически никому и никогда не говорю. Быть может, это было произвольной формой капитуляции, хотя сегодня я кое-что поняла, и теперь, наверное, смогла бы вам помочь, но уже поздно – вы улетаете. Однако у меня есть идея. Знаете, как говорят, – чтобы чему-то научиться, нужно учить других. Я многое в себе поняла, когда начала терапевтировать людей. А мой бывший... э-э... один мой знакомый, од-

нокашник, мы вместе учились... однажды очень правильно сказал, что все понял про нейросети только тогда, когда начал сам преподавать эту дисциплину студентам.

Я смотрел на Джейн, не понимая, куда она клонит. Какие нейросети? Время сеанса уже вышло, и никогда раньше она не задерживала меня дольше положенного срока. Не скажу, конечно, что выпроваживала, но ощущение такое было. А вот теперь...

– Вы хотите сказать, что мне для того, чтобы разобраться в своих проблемах, нужно оттерапевтировать кого-то? – пошутил я.

– Да, – без улыбки сказала она. – Примерно. И это просто знак, что вы летите в Москву. Тот человек, о котором я вам сказала, мой однокурсник, он сейчас как раз в Москве. Я вам сейчас напишу...

Она схватила ручку и быстро начала выводить что-то на квадратике бумаги.

– Он сейчас работает в России. И занимается...

– Спасибо, Джейн, но вряд ли у меня будет...

– Вы найдете время, Александр! – твердо сказала она и протянула мне квадратик.

Я машинально взял его и, не глядя, положил в карман. Джейн проводила квадратик глазами.

– Он сейчас как раз занимается очень интересными вещами... Ну, впрочем, он вам сам расскажет. Вам понравится! Вы же говорили, что в школе увлекались математикой и био-

логией...

– У него что – более прогрессивная школа психотерапии, чем у вас? – криво улыбнувшись, снова попытался пошутить я.

– Нет. Это другое. Он вообще не психотерапевт. Он занимается программированием, нейросетями и системами искусственного интеллекта.

– Я не очень...

– Он вам расскажет! Я могла бы и сама, но у него это лучше получится, а вам еще собираться и ехать в аэропорт.

– Погодите, то есть он не психотерапевт, что ли? Вы же сказали, что учились вместе.

– Да. – Джейн кинула ручку в стаканчик с карандашами. Не попала, подняла упавшую мимо стаканчика ручку со стола, еще раз кинула, на сей раз удачно. – Мы действительно учились вместе. Я закончила Массачусетский технологический институт. По специальности программирование. Там мы с ним и познакомились. Психология – это мое второе образование. Что вы удивляетесь? И то хорошая профессия, и это. Просто жизнь так сложилась. Хотелось в ней разобраться. В жизни и в себе. Я решила, что психфак для этого лучшее место. Иначе бы мы с вами не встретились.

Я стоял молча, не зная, что сказать. Все это было странно. Как, впрочем, и все в моей жизни.

– Передайте ему привет от меня, хорошо?.. – Она чуть улыбнулась и так решительно протянула мне руку, словно

отталкивая меня в Москву с этой запиской.

Я пожал ее холодные сухие пальцы.

– Конечно, передам. Хотя, я не очень понял... Но в любом случае, спасибо, Джейн. Вы мне очень помогли.

– Да бросьте! Я вам практически и не помогла. Может, только сегодня, за последний час. Вы трудный. Но если вам что и поможет разобраться в себе, то это он, – она кивнула головой, указав на мой карман. – Счастливой дороги, офицер Грант, герой Америки!

– Грантов, – зачем-то уточнил я, уже держась за ручку двери. – Когда-то эта фамилия звучала так. Просто, приехав сюда много лет назад, я отбросил русское окончание. Чтобы не выделяться.

– У вас нет акцента...

Я признательно махнул ей рукой и закрыл за собой дверь.

Выйдя из здания на шумную улицу, я вздохнул, машинально сунул руки в карманы, и пальцы сразу нащупали мусор – квадратик записки. Мужчины не любят бумажки в карманах! Я достал квадратик, секунду подумал, смял, не читая, и бросил в урну. И в этот самый момент – смятый бумажный комочек еще не успел упасть – мой смартфон подал голос, привычно звякнув. Я посмотрел на экран – это Джейн продублировала мне в электронном виде то, что сейчас лежало в урне.

Да, от нее так просто не отделаешься! Мне придется, наверное, передать ее привет этому хмырю. Но как она узнала,

что я выкину бумажку? И что он делает в России, ее знакомый, если вся наука и все деньги в Америке?

...Мой сикх в черной чалме, предводитель желтого нью-йоркского корыта, нажал клаксон, чтобы поторопить и пропустить в свой ряд какого-то китайца – водителя такого же длинного желтого корыта, – а я, отвлекшись от мыслей, увидел, что мы уже не очень далеко от аэропорта Кеннеди. А значит, через полсутки я буду там, где еще полсутки назад быть не планировал. В той стране, гражданство которой мне было давно уже не нужно, но чей второй паспорт, коему до конца годности оставалось не так уж много времени, лежал в моем кармане вместе с американским – паспортом моей второй жизни. Которая вышла не сильно веселее первой...

Глава 11

Теперь мысленно я уже был впереди себя: и в очереди на регистрацию, и в очереди контроля безопасности, и в очереди на погранконтроль я думал только о том, что и как буду делать там, как стану вести себя, кого увижу на похоронах, на которые, я, кстати, успевал почти впритык. Необходимо ли мне будет предложить этим незнакомым людям деньги, как это водилось раньше в России? Они, наверное, думают, что в Америке у всех денег куры не клюют? Может, поэтому брат и позвонил?

Получается, мне прямо из аэропорта нужно будет ехать на вокзал, брать билет в Тверь. Или, раз уж я прилетаю в Шереметьево, сесть прямо в аэропорту в такси и поехать в Тверь на машине? Сколько это может стоить? Где остановиться в Твери – в гостинице или у этих людей, из которых я знаю только своего «полубрата», коего видел живьем два раза в жизни? Отец, правда, показывал его детские фотографии при встрече, но это не считается.

Наверное, лучше в гостинице, чем в незнакомом доме на узком продавленном диване с потертыми углами где-нибудь в проходной комнате.

Черт, а до Твери ходят только электрички. Три часа трястись с бабками, с дачниками, с кошелками на этих жестких скамейках? Наверное, все-таки лучше на такси.

А после похорон – оставаться на поминки или сразу уехать в Москву, в нормальную гостиницу с нормальной кроватью и нормальным бельем? Нужны мне эти русские поминки с их отвратительной, совершенно несъедобной кутьей, которую есть невозможно, но почему-то положено, с их водкой, их узколобыми брылястыми деревенскими родственниками? С дурацкими тостами и воспоминаниями, щербатыми тарелками и нездоровыми, неухоженными, провинциальными, некрасивыми лицами?..

А что мне делать в Москве? Позвонить одноклассникам по институту? Все их телефоны слизало красное пламя вместе с записной книжкой. Да даже если бы и не слизало, что я им расскажу? Их несчастные истории жизни мне слушать тоже совсем неинтересно. А истории успеха – тем более. Мне хвастаться нечем, а жаловаться – вон у меня есть штатный психотерапевт. Щедро оплачиваемый из бюджета полицейского департамента. Да и то Джейн не слишком справилась... В общем, у меня никого нет в столице бывшей родины, и не надо.

Так что же – оставаться после похорон на поминки или нет? Хотя салатиков пожрать. Оливье... Я вдруг почувствовал, что от оливье бы сейчас не отказался. Язык вспомнил вкус, знакомый с детства. «Русский салат», как его называют на моей новой американской родине, но готовить толком не умеют. Майонез, что ли, в Америке другой?

А если мне предложат сказать что-то? Вот ужас-то! Я бу-

ду что-то приличествующее случаю мямлить, стараясь выдать из себя что-то хорошее про покойного, чего я не знаю, а они будут испытывать неловкость и старательно скрывать ее среди воцарившегося молчания. Они-то понимают, что мне нечего вспомнить. Даже вилки звенеть перестанут, когда я попытаюсь что-то выговорить.

...Хобот убрали, дверь в салон самолета закрылась, и вскоре «Боинг» дрогнул. Я повернул голову вправо – да, поехали. Сейчас огромную машину вытолкают туда, где она сможет двигаться сама, тягач отцепят, и мы, гудя турбинами, порулим к взлетной полосе.

Я один за другим провожал глазами оранжевые огоньки аэропорта и чувствовал, что внутри меня что-то поднимается от таза. От живота – выше, выше, к самому горлу.

Что же мне делать?..

Они ведь там все будут говорить что-то, на поминках – о своем «безвременно ушедшем» отце, муже, брате... Кстати, сколько ему было?.. Они будут рассказывать, вспоминать какие-то случаи. И все эти истории из его жизни, знакомые им, будут историями совсем не из моей жизни – а из только их. Они с ним жили, а не я! Не мы с мамой.

...Самолет прекратил медленное движение по рулежным дорожкам, в которых я никогда не мог разобраться и сориентироваться, каждый раз удивляясь, как во всем этом хаосе летного поля ориентируются летчики, как они угадывают, куда им рулить?.. Кажется, мы на взлетной. Ждем отмашки

диспетчера. Точно, турбины начали свой привычный разгонный вой. Сейчас командир отпустит тормоз, и самолет покажется по серой полосе все быстрее и быстрее, пока не оторвется от бетонной тверди и от моей второй жизни, унося к жалким остаткам первой.

Мне совершенно не хотелось видеть два или три десятка незнакомых мне людей в старых кофтах и засаленных пиджаках, которые эти провинциалы достанут из своих шифоньеров и наденут для приличия. Господи, спаси и сохрани! За каким чертом я вообще поехал?! Они будут привычно хватать своими заскорузлыми руками водочные бутылки с синими этикетками и наливать в свои стопки. И в мою. А я тоже буду вынужден пить, да? Сколько? Сколько они? Или можно пропускать? Там, наверное, будет коньяк. Всегда на всех похоронах, на которых мне доводилось бывать в России, кроме водки был на столе еще коньяк – «для приличия». И вино – «для дам»... Твою же мать!

Нет, я не останусь на поминки, сразу уеду...

Пилот бросил педаль, и в иллюминаторе замелькало – все быстрее и быстрее. Скоро барабанная дробь бетонных стыков о шасси внезапно прекратится, потому что мы повиснем на крыльях, и земля станет быстро удаляться вниз, а потом пилот повернет штурвал и огромная белая машина, закрыв мне подрагивающим крылом землю, начнет ложиться на курс и вскоре выйдет на эшелон...

Что-то я не додумал. О чем-то сейчас я позабыл подумать.

Все, вроде, перебрал. Все, кажется, представил ярко и в деталях – даже как неизвестный пьяный родственник в конце застолья положит мне свою ненужную руку на плечи, а я буду терпеть, потому что похороны. Но вот что-то важное я упустил. Думал об этом и проскочил.

На такси или на электричке? Нет... О чем говорить, если вдруг в меня упрутся взгляды? Тоже нет... Остаться ли после похорон на поминки? Или уехать в Москву? Или только сходить с ними на кладбище похоронить его?

Кладбище, которое до этой секунды представлялось мне какой-то абстракцией, вдруг нарисовалось перед внутренним взором во всей своей отчетливости – ведь я там был! Почти десять лет назад, когда хоронили мать. И его похоронят рядом с ней, как же я забыл! Я увижу могилу матери – вот хотя бы ради чего стоило окунаться в первую жизнь!

И вдруг то непонятное в моем теле, что поднималось от таза через диафрагму выше, щекоча осторожными мурашками спину, достигло горла, перехватило его и шарахнуло в голову догадкой – настолько огромной, что больше ничего в моей голове уже, кроме нее, не помещалось. Даже слезы. И оттого они побежали из моих глаз безостановочно, настолько опустошающе, что я не мог ничего с этим поделать. Да и не хотел. Они просто лились и все, как струи воды. То, чего стараются добиться психотерапевты – чтобы человек прорыдался, – чего не смогла добиться Джейн за полтора десятка сеансов, сейчас сделала эта догадка, настолько простая в

своей вновь открывшейся предельной ясности, что я не понимал, почему она так долго вылезала, продираясь, продвигаясь откуда-то изнутри к сознанию.

— Мама, а почему дядя плачет? — спросил тихий детский голосок слева.

Даже если бы я хотел голоску ответить, я бы не смог — в горле стоял спазм. Поэтому я просто отвернул голову к иллюминатору, даже не пытаюсь унять эти реки. Сколько их там накопилось за десятилетия!

Я понял, почему мать перед смертью просила похоронить ее не в Москве, а именно на родине — на окраине Твери. Она всю жизнь не любила доставлять никому неприятности, а тут попросила перевезти ее после смерти в другой город... Потому что там жил он! И потому что знала: он захочет лечь с ней рядом — если не в жизни, то хотя бы после нее. А он тоже понимал, отчего она приняла такое решение — быть погребенной не в Москве, где мы жили, а в Твери. Потому что так его новой жене и новым родственникам будет удобнее положить его рядом, когда придет время. И оба — и отец, и мать — даже откуда-то знали, что родственники согласятся на этот необычный шаг.

Они любили друг друга все это время! Несмотря на то, что какое-то событие, неведомое мне, раскидало их, оторвало с кровью друг от друга, она всегда любила его, а он любил ее! Поэтому она так часто плакала. Поэтому она не хотела, чтобы он приходил. Поэтому однажды после его случайного

прихода проронила сквозь слезы: «Мне хочется умереть». А я, тогда еще 12-летний мальчишка, ненавидел его и думал, что он ее обидел.

Он ее действительно обидел – тем, что она его любила. Его одного и всю жизнь. Настолько – что когда он приходил, ей и вправду хотелось умереть, потому что знала: он скоро уйдет... И он, оказывается, любил ее!

Я всегда воспринимал их как-то бесполо – ее как мать, как пожилую женщину. И его – как чужого старика. А они были люди! И они были молоды! И у них была целая неведомая мне жизнь! Я – лишь побочный продукт их любви. Они любили друг друга! Любили так, как я никогда не любил свою жену...

Почему я никогда не спрашивал у нее, отчего они расстались? И почему мне, дураку, не пришло в голову спросить об этом у него?

А теперь уже не спросишь...

И еще одну вещь я тогда, на взлете, понял со всей ясностью – Джейн, как женщина, догадалась об этом сразу. Она хотела, чтобы я догадался сам, поэтому и гоняла меня по отцу. И ей не хватило, наверное, каких-нибудь получаса, чтобы выбить из меня этот триумф психотерапевта. А ведь это было так просто – догадаться!

Когда я открыл глаза, самолет уже заходил на посадку. Внутри меня было как-то свободно и звонко. Как никогда не

было.

За десять часов лета мы перепрыгнули через ночь, и новая ночь уже катилась навстречу Москве с востока. Мне бы теперь до темноты добраться до места. Потому что завтра с утра отец и мать воссоединятся. Встретятся наконец, заполнив в смерти тот разрыв, который случился у них в жизни.

Самолет зашевелил оперением, обнажив какие-то потайные страшные кишочки, видимые пассажирам только тогда, когда загадочные закрылки, подкрылки и элероны приходят в суетное движение. Он вальяжно накренился на правый борт, любезно показав мне Россию, затем выпрямился, со вздохом опустил и вскоре устало бухнулся на шершавый бетон, загремев по стыкам и взыв реверсом турбин.

Чертова родина...

Глава 100

Смешно, но мой таксист в желтом московском корыте был очень похож на моего нью-йоркского таксиста, только без чалмы. Да и приехал в Москву он не из Индии, конечно, а из бывших имперских колоний – из Средней Азии.

– Тверь? – еще раз утвердительно переспросил он. И я удивился: не по-английски!

– Тверь, – кивнул я с заднего сиденья и подумал: правильно ли я сел, ушла ли за все эти годы извечная привычка русских мужчин садиться рядом с таксистом или осталась? А впрочем, какая разница – я уже не русский!

За окном проносились знакомые и полужнакомые пейзажи, а я не чувствовал ни ностальгии, ни каких-либо иных эмоций, как будто не прожил в этой стране большую часть жизни. Я смотрел на все окружающее пространство так, словно это была чужая страна. Нет! Неверно! Если бы это была чужая страна, я бы смотрел в окно с другими эмоциями – с интересом, как всегда смотрю и как все смотрят по сторонам, попав в чужую страну.

Мне здесь ничего не было интересно. Единственное, на что бы я посмотрел, так это на могилу матери. Которую не видел уже почти десять лет. Но я ее и так увижу. А все остальное...

– Адрес какой? – спросил таксист, остановившись на све-

тофоре и решив ввести наконец тверской адрес в навигатор. – Адрес какой?

– Адрес такой, – машинально ответил я и полез в смартфон, где у меня был записан адрес, наскоро продиктованный позавчера братом. Или это было вчера? Я уже запутался с этими перелетами и переменами дат. – Ага, вот. Забывайте...

Я продиктовал адрес – улицу в частном секторе где-то на окраине Твери – и вновь откинулся на спинку заднего сиденья.

И они еще пишут что-то о ностальгии! Никакой! Ни на грамм! Чужая страна. Даже хуже – потому что неинтересная. Слишком много с ней у меня было связано. Целый огромный кусок жизни, с которым я бы с радостью расстался. Да я и расстался. Смог. Получилось. Ампутировал. И увез Лену, которой уезжать не хотелось, но жена декабриста должна ехать за ним не только в Сибирь, но и в более прекрасные места. Такова женская доля.

– Хороший погода, – вдруг почему-то сказал водитель. Наверное, ему хотелось поговорить, но я его порыва не разделял и только буркнул: «Угу».

Сентябрь и впрямь выдался каким-то очень летним, погода почти не отличалась от нью-йоркской. Мне, наверное, просто повезло. И завтра дождя тоже не предвидится. Не хватало еще попасть на похороны в дождь! Интересно, какой гроб они отцу купят, небось, самый дешевый – плохо оструганная тонкая доска, затянутая красным ситцем, – прикинул

я и вдруг поймал себя на том, что впервые подумал не «ему купят», не «его похоронят», а – «отцу».

Что-то изменилось во мне за эти десять часов перелета...

Он ее любил. И она его тоже – в смерти даже шагнув поближе к нему и подальше на 150 километров от меня, жившего в столице. И он тоже дождался и шагнул ей навстречу – также уже на том свете. Почему же они расстались? Почему не прожили всю жизнь вместе? Кто и в чем оказался виноват? Отчего я вырос без отца? И не просто без отца – а почти в ненависти к нему, поскольку часто видел слезы матери, всегда связанные только с ним.

Интересно, как его новому семейству удалось примириться и согласиться с этим его последним решением, новая жена как решилась? И как они утрясли вопрос с документами, на каком основании его положат рядом? Может, они уже передумали, переиграли?.. Почему-то эта мысль меня взволновала, я заерзал на сиденье. Мне теперь было очень не все равно, я теперь хотел, чтобы они лежали рядом. Мама и отец.

– Ты был Ташкент? – снова прервал мои мысли таксист.

– Нет, – я нехотя разлепил губы. И почему я считаю себя обязанным ему отвечать? – Я не был Ташкент. И Бухара не был. И Самарканд.

И он начал рассказывать, какой хороший город Ташкент. Какой хороший плов в Ташкент. А Бухара – тоже хороший город! У него там брат живет, в Бухара. В Бухара тоже хороший плов. Но в Ташкент лучше! Хотя некоторые говорят, в

Бухара плов лучше. Не понимают просто люди.

Я молча кивал, а сам вспоминал руки матери – как она брала семейный альбом, и ее кисти, старческие, с голубыми венками, чуть подрагивая перелистывали толстые картонные страницы, каждый раз задерживаясь на тех, где были наклеены или они с отцом или мы трое. Их свадьба. Снова они вдвоем – смеющиеся, где-то в деревне. Они стоят в парке, а внизу, у их ног – я на трехколесном велосипеде.

Порой на гляцевое старое фото капала слеза, и когда я был маленький, сердито отнимал у нее этот альбом, чтобы мама не плакала. Потом отнимать перестал, поняв, что не в альбоме дело, но всем своим видом показывал недовольство и копил злость на человека, который оставил ее – одну с этим альбомом. А затем она смотреть альбом перестала. Или делала это, когда дома не было меня. Да, наверняка так и было, я мог бы и раньше догадаться.

Теперь я понимаю. Она не просто листала прошлое, она смотрела только на снимки отца и вспоминала то время, когда они были вместе.

Этот альбом сгорел вместе с записной книжкой в моем гараже...

В город мы въехали, когда солнце уже почти опрокинулось за горизонт, во всяком случае его уже не было видно из-за крыш низкой частной застройки на окраине. Машина переехала по мосту через реку, и еще минут десять мы пробирались по узким улочкам, лавируя между ямами. И вско-

ре остановилась у ничем не приметного бревенчатого дома с резными голубыми наличниками. Такой же голубой краской было выкрашено и крыльцо. Причем и там, и там краска была уже здорово облупившейся. Видать, к старости отцу стало уже не до наведения марафета. Все старики таковы – сил на ненужное уже не остается. Но почему не покрасил этот – братец-то мой?

Такси, фыркнув выхлопной трубой, укатило в закат, а я подхватил чемодан, потому что по местной щербатой улице на своих маленьких колесиках он передвигаться не мог, и, вздохнув, побрел к перекошенной калитке. Какой-то ужас. Блин, лучше бы я остался в Нью-Йорке! Там по крайней мере все привычно и не так ужасно.

Чье-то женское лицо мелькнуло в окне. Меня увидели.

Все оказалось не так страшно, как мне представлялось.

Не было назойливого провинциального внимания а-ля «капиталист из самой Америки приехал, глянь!» Да и некому было его выказывать. В вечернем доме были только мой сводный брат по мертвому отцу, его жена, их длинный сын-подросток, которого я не очень даже запомнил и который после формального «здрасьте» растворился в своей комнате, залившись на весь вечер у компьютера. А также вдова моего отца, которую я до этого дня никогда не видел. Та женщина, на которую отец променял мою мать. Но почему-то оказалось, что променял только на одну жизнь. А после смерти

решил вернуться.

Ирина Петровна оказалась интеллигентной женщиной. Не толстой. Мне почему-то она представлялась толстой, как все российские провинциалки, живущие в частных домах. Но она оказалась приятной пожилой и на вид грустной учительницей с копной седых волос и большими серыми глазами. На вид даже избыточно интеллигентная для их дома, устроенного слишком просто, слишком по-деревенски, и это мне сразу ответило на незаданный вопрос – почему она согласилась с последней просьбой мужа.

Но вопрос я все-таки задал. Когда пригласили за стол, поставили картошку с селедкой и когда после первой рюмки у меня внутри лопнула последняя струна напряжения.

Отпустило.

И мы заговорили. Очень просто. Как будто виделись всю жизнь и всю жизнь поддерживали родственные отношения. А почему нет? Что нам теперь делить?

Поговорили про их сына (из его комнаты раздавались звуки компьютерной стрелялки). Про школу, в которой она работала. Про работу брата. Наконец, я дождался вопроса про Америку. Но о чем мне было рассказывать – не о моем же роковом выстреле? Поэтому, разговоры о себе я быстро закруглил, проинформировав, что работаю полицейским, детей у нас с Леной больше нет и быстро закруглил американскую тему. Почувствовав, что у меня нет настроения говорить о себе, они тактично не стали настаивать. И беседа вновь вер-

нулась к их нехитрой жизни.

Вот тогда я и спросил. Не напрямую. Просто поинтересовался техническими деталями – во сколько завтра начало, где, на каком кладбище... На мой вопрос, обращенный как бы сразу ко всем, ответил не брат, ответила она, женщина с глазами, в которых не было слез, потому что они были давно выплаканы, наверное, за годы до сегодняшнего дня.

– На том конце города, – сказала Ирина Петровна. – Это дальше, чем наше кладбище, но он просил именно там, рядом с ней. В смысле, с вашей мамой.

Вместо главного вопроса я просто поднял на нее взгляд. И она ответила:

– Он давно об этом просил. Много лет. Все время. Я привыкла за годы.

Что-то опять накатило на меня. Я сглотнул, прокашлялся и, чтобы скрыть волнение, сказал:

– Гхм... А как же вы решили вопрос с документами?.. Ну, для захоронения?

Они переглянулись – брат и его мать, вдова моего отца:

– В смысле?

Я растерялся. Я не был в России уже много лет, и все могло измениться по законам и правилам. А я и тогда не слишком сильно представлял себе похоронное дело.

– Ну, не знаю, как сейчас, но раньше, по-моему, захоранивали на участок только к родственникам и супругам. А я даже не представляю, на кого оформлено... Тогда похорона-

ми матери занимался мой двоюродный дядя – дядя Сережа, я был в армии, приехал только на похороны. А он тоже умер, и я не знаю, на кого и где документы, их надо, наверное, как-то восстанавливать. Как вам вообще разрешили? У вас есть разрешение-то, а то получится...

Я успел выпалить такое длинное и путаное объяснение только потому, что все то время, пока я говорил, они осознавали одну простую мысль. И эта мысль их удивила.

– Не дядя Сережа никакой! Занимался похоронами твоей матери отец, – сказал брат. – И документы на могилу были оформлены на него. Потому что он муж.

– Кому? – растерялся я. Не надо было мне, наверное, эту водку пить.

– Екатерине Георгиевне, твоей матери.

Какое-то время я сидел за столом, не понимая. И по моему лицу они утвердились в своей догадке: я – идиот!

– Ты не знал, что ли? Они не разводились. Твои отец и мать не оформляли развода.

Я молча потянулся за бутылкой...

Лежа ночью на пружинной кровати под ватным одеялом, я никак не мог уснуть – не столько из-за смены часового пояса, сколько из-за гудения головы в результате этого открытия.

Они не разводились. Почему?

Но отец ушел... Или мать его выгнала? Почему?

И почему никто из них мне об этом ничего не рассказы-

вал? Потому что это только их жизнь?

Ну, ладно, отец – мы с ним виделись слишком мало для душевных бесед. И он, конечно, понимал причину – я его не любил, поскольку был на него зол и обижен. Видимо, такому мальчику, каким рос я, был для взросления критически важен отец. Про это, кстати, мне потом говорили... Моя злость и обида за себя и за мать была вызвана нашей с ней брошенностью. Он нас променял на другую семью – лучше!.. В общем, отец все эти мои чувства понимал и в долгие объяснения не вдавался. Но мать! Она-то почему не рассказывала никогда и ничего?

Потому ли, что сначала я был маленьким, а потом уже понял, что брошен и возненавидел, обиделся, а ей не хотелось спорить с этой детской обидой? Действительно, сложно спорить словами и логикой с чувствами!

Или...

Или она сама была виновата в их расставании? Эта мысль поразила меня. До сих пор за целую жизнь она ни разу не приходила мне в голову.

Вдруг это не он изменил и ушел, а началось с нее, и он не простил? Тогда где же тот ее избранник, из-за которого?..

В голове гудели водочные вертолеты, но сознание, как ни странно, было ясным.

Почему она не рассказала мне даже тогда, когда я вырос, стал взрослым и уже мог понять? Почему я ничего не знаю об их жизни? Они лишили меня этого знания, решив, что все

случившееся – только между ними! А я? Я был недостойн этого знания? Мама! Папа!

Может быть, потому мать молчала, что не хотела видеть моих слез? Она действительно их выносить не могла и страдала, когда мне доводилось плакать, поэтому я плакать очень рано вообще перестал. А я бы, конечно, заплакал, как заплакал в самолете, поняв крайне важное – нечто сильное и глубокое их связывало всю жизнь, которую они не смогли, хотя и очень хотели, прожить вместе.

Интересно, а любил ли отец эту Ирину Петровну? Она-то многие годы знала, что он любит не ее, а мать, хотя живет с ней. Неужели ей было этого достаточно – того, что просто живет? И за это – за то, что он принес свою жизнь ей в жертву, она дорого заплатила, точнее, заплатит завтра: после смерти отдав отца той, которую он любил. Но в чем я уверен – Ирина Петровна отца точно любила. Потому и выполнит его последнюю просьбу. Ладно, и на том спасибо...

Господи, теперь я буду это нести всю жизнь, думать об этом. Надо непременно рассказать Лене, чтобы нести это вместе!.. Или не надо? А вдруг она задумается и спросит: а ты? ты меня любил, когда женился?

Нет. Пожалуй, я понесу это один. К чему рассказы, наводящие на бесполезные вопросы...

Но какая все-таки печальная история! И как грустно, что она касается моей жизни! Почему у меня в жизни все вот так? За какие грехи?

За дверью скрипнули половицы, раздался чей-то приглушенный голос. Брат. Я напрягся и прислушался.

– ...Он не спросил? – Тихо задал кому-то вопрос брат. Если бы не ночная тишина, я бы его не услышал. Но тишина обостряла все звуки, а сейчас мне почему-то казалось очень важным прислушаться.

– О чем? – почти не слышно ответил голос его матери.

– Почему отец принял такое решение.

– Он все понял. Иди спи. Завтра вставать...

– Хорошо, мам... А ты будешь ходить к нему на могилу?

Я затаил дыхание, боясь прослушать ее ответ. Но ответа не было.

Забылся я только под утро. Но проснулся сразу, как только, тихонько скрипнув, приоткрылась дверь.

– Не спишь?

– Кгхм... Нет. Что, пора?

– Да. Через полчаса выходим. Мы не хотели тебя с дороги рано будить.

Я откинул одеяло и сел в кровати, потер руками лицо, словно пытаюсь разгладить его от сонных морщин.

– Да. Щас. Слушай, где мой чемодан? Я вчера не успел разобрать...

Брат молча кивнул головой в сторону, в угол. Я повернул голову влево и увидел свой ярко-желтый, веселый, так сильно контрастирующий с этой деревенской комнатой, чемодан.

Странно, как я его не заметил боковым зрением?

– Америка! – внушительно сказал брат, тоже глядя на это пластиковое чудо инженерной мысли на четырех двойных колесиках.

– Она, – кивнул я и встал, взглянув по привычке на наручные часы, хотя настенные часы висели прямо напротив кровати. – Щас. Да. Собираюсь.

Брат уже закрывал дверь, когда я окликнул его:

– погоди!.. Хотел спросить, народу будет много?

– Нет, – он покачал головой. И словно поняв мою тревогу, чуть заметно улыбнулся: – Докучливых деревенских алконавтов не будет. Сам не люблю...

Их и вправду не было. У городского морга собрались несколько человек. Все влезли в один автобус. Двое коллег Ирины Петровны, трое человек с работы отца. Пара каких-то дальних родственников со стороны вдовы, двое школьных друзей моего брата, чтобы гроб нести. Кажется, все. Нет, была еще подруга братовой жены, но она оказалась совсем незаметной. У меня немного отлегло: традиционного деревенского воя не будет, меня даже не заставят говорить речь, слава богу. Еще двое суток назад я ее говорить не хотел. А сейчас просто не смог бы: казалось, в горле еще остались какие-то осколки того комка, который поселился в нем с самолета, а вчера они даже выросли, напивавшись колючими вопросами.

«Почему же они не развелись, если по какой-то причине

решили расстаться или кто-то один из них решил, а второму ничего не оставалось, кроме как подчиниться? – думал я, покачиваясь в автобусе, с покорным спокойствием преодолевавшем рытвины городской окраины. – Может быть, каждый из них думал, что это не навсегда? Рассматривали расторжение брака как запасной аэродром, как шанс на возврат? Или... Или они, зная бюрократические каноны родины, негласно рассчитывали как раз на этот, сегодняшний вариант?»

Когда автобус, кренясь, заезжал в кладбищенские ворота, мне вдруг стало неловко за могилу матери. Конечно, меня нет в стране уже много лет, и за могилой ухаживать некому, но в каком она виде? И вдруг понял – в хорошем! За ней ухаживал отец. А теперь будет ухаживать за их общей могилой она, его вдова. Учительница Ирина Петровна, отдавая долги, станет аккуратно смотреть за обеими могилами, пока жива. А потом сама уйдет – на другое кладбище, ближе к дому. Потому что он так хотел. А она сделает так – и уже начала делать – как хотел он.

По каким-то причинам – или моя мать не простила отцу случайной измены, или это он ей не простил, или у него родился ребенок на стороне – но отец ушел к этой Ирине Петровне. И той хватило ее собственной невзаимной любви к отцу, чтобы жить и поддерживать их фактический брак. При чем хватило настолько с запасом, чтобы похоронить своего любимого рядом с той, которую он всю жизнь любил и обез-

долил ради жизни с сероглазой учительницей. И меня, кстати, тоже обездолил! Надеюсь, стоящая рядом со мной женщина с огромными открытыми глазами, которые не отрываясь смотрят на гроб, понимает, какую жертву людьми и собой принес отец ради нее.

Папа. Бедный мой папа. Я ни разу в жизни даже не обнял его...

Меня никто не заставлял ни словом, ни взглядом ничего говорить – ни на кладбище, ни потом, на поминках, которые проходили почему-то дома у той самой незаметной подружки жены моего брата. Я не понял, почему, но спрашивать не стал. Видимо, так было всем удобнее по какой-то причине. Мне казалось, что поминки будут в ресторане, но это случилось именно дома, как в давние советские времена. Наверное, в Москве так уже не делают, а снимают кафе и рестораны. Но провинция как всегда отстает... Однако так даже лучше, менее казенно и более спокойно.

На поминках никто не плакал. Сначала обменивались дежурными репликами, потом чуть громче начали без чоканья вспоминать какие-то эпизоды из его жизни, а я жадно слушал – мне теперь стала интересна жизнь отца, которую я всю пропустил – частично по своей вине. Я старался представить ее полнее по тем крохотным обрывкам, которые хватал сейчас и жадно впитывал.

Я должен был его простить, а не пестовать эгоистичную обиду. У меня не было отца в детстве. И я по дурости так и

не обрел его в юности и даже во взрослом возрасте. Господи, какой же я был дурак! Я мог бы за эти 15 лет свозить его в Америку – показать Нью-Йорк, Пальчиковые озера, Ниагару, затем бы мы вернулись через Пенсильванию, я бы провез его своими разведанными маршрутами через малопосещаемые туристами поселения амишей. Он бы удивлялся, глядя на их повозки, на их детей, на их дурацкие педальные самокаты. Он бы говорил мне... Говорил бы что-нибудь, без разницы, что! А я бы ему отвечал.

Я бы купил ему что-то из того, что делают амиши в своих мастерских. Часы. Напольные часы, например. Он бы, конечно, отказывался, говоря, что дорого и везти неудобно. Но я бы купил все равно. Мы бы вместе их упаковали, предварительно разобрав, и тщательно заворачивая каждую деталь в пупырчатую полиэтиленовую пленку. И я бы, конечно, оплатил ему билеты и перевозку негабаритного груза, если надо. У него бы сейчас стояли дома эти часы. И я бы их тут встретил. И отец всем своим гостям, пока был жив, их бы показывал, специально заведя в ту комнату, где я сегодня спал, и говорил: видал, какие, сын подарил, из Америки вез, не хотел брать, амиши делают...

Но их нет, этих часов. И ничего нет. Я упустил все. И теперь этого уже не вернешь. Я просто потерял кусок жизни, разменяв на детскую обиду. Просрал.

А еще я мог бы свозить его в Вашингтон. Или, лучше, в круиз по Карибам. Он же никогда не был в круизах. Да что

отец вообще видел в жизни, кроме этой Твери? Он вообще в командировки ездил куда-то?..

Он мог бы увидеть острова, океан. Ему этой поездки хватило бы на всю жизнь, он бы вспоминал ее потом годами. Он бы удивлялся каютам лайнера. Я бы взял круиз на одном из самых больших судов. Какие-нибудь горящие путевки – чтобы и не слишком дорого, и с балконом в каюте.

И может быть, тогда к концу второй или даже третьей недели путешествия отец бы рассказал, что у них случилось с матерью. И я, покачив головой, ответил бы:

– Да... История...

Или сказал бы что-нибудь другое, мужское. И, наверное, положил руку ему на плечо. Своему отцу.

Но нет у меня теперь отца. Я его пропустил...

А он, как выясняется, был веселым и добрым – вон какие хорошие случаи про него рассказывают. Я их все запомню! Я их всасываю как губка. И представляю себе в деталях, которые потом произвольно ярко досочиню – так, как будто я сам все это видел, как будто у меня был отец. Чтобы у меня осталось хотя бы это. Виртуальные крошки. Как бы жизнь как бы отца. Несколько кусочков... Говорите, рассказывайте, вспоминайте!.. А я еще раздумывал, оставаться мне на поминки или сразу ехать в Москву, идиот!

Каким-то вторым восприятием я замечал на себе осторожные взгляды присутствующих – в большинстве, конечно, брата и его жены, они ловили мои реакции – не захочу ли и

я вдруг что-то сказать. Хотя знали, конечно, что сказать мне нечего, а по моему лицу понимали, что мне от этого сейчас плохо.

В какой-то момент глаза защипало. Я встал из-за стола. И молча вышел из дома в сентябрь. Сел на грубую серую лавку под окном. Молодое золото листьев уже бросалось вниз – сначала самые храбрые и уставшие от жизни, они постепенно, по одному выстилали траву. Тут уже осенью все дышит! А у нас там еще всю лето... Впрочем, и здесь до настоящих оголяющих деревья листопадов было не слишком близко.

Краем глаза увидел движение слева – это за мной вышел на улицу брат – и торопливо смахнул с глаз соленое, чтобы он не увидел. Сергей сел рядом. Господи, только разговоров по душам и всяких утешений мне сейчас не хватало!.. Но у него хватило понимания молчать.

И мы просто сидели рядом.

Даже не могу сказать, сколько это продолжалось, минут пять, наверное, вряд ли больше. Но за эти пять минут он мне стал братом больше, чем был им за всю прошлую жизнь. Конечно, это ненадолго. Вскоре планета разведет нас по полушариям. И его не будет. Никогда уже больше.

Что же он сделал со своей жизнью, мой отец? И с моей, получается, тоже... Сидя на этой серой лавке с трещиной посередине и анализируя ход своей жизненной кривой, я все больше понимал, что, если бы не какой-то, быть может, полуслучайный эпизод, который развел моего отца и мою мать,

моя жизнь сложилась бы совсем, совсем по-другому! И нью-йоркский полицейский не сидел бы в таком диком для него месте. А сидел бы вместо него совсем другой Я – с известным и единственным гражданством, с неизвестной мне женой и неизвестными мне детьми.

Они бы у меня были, дети! Двое или трое. А вот человека, сидящего сейчас слева от меня, не было бы. И вихрастого пацана, игравшего вчера в своей комнате на компьютере, не было бы. Но были бы другие люди! Ирина Петровна нашла бы себе мужа, наверное, а не стала отнимать чужого. А главное – сложилось бы у меня!

Папа! Что же ты наделал? Или это она – мать? Или Ирина Петровна, высохшая, седая и неплачущая? Кто из вас так переформатировал мою жизнь, что превратил меня в охотника на террористов, не самого удачного в профессиональной жизни и совсем неудачного в жизни личной? Мне даже скачок в другое полушарие и старательная попытка начать жизнь с нуля не сильно помогли. Ведь внутри-то я не изменился, потащив в другую страну все свои внутренние перемены.

Брат слева прокашлялся. Я повернул голову.

– Ты это... Когда обратно? В свою Америку?

– Не знаю пока, Сереж... В Москве еще дела, – соврал я, чтобы оставить возможность для маневра. А то вдруг брату захочется всего вот этого мужского и родственного – на рыбалку, на охоту, баня, показать настоящего американского

копа друзьям? С другой стороны, учитывая последние пять минут, я был бы не против остаться еще на день-другой, чтобы зачем-то укрепить это тонкую родовую склейку, рожденную его понимающим молчанием.

— Ну, ты если хочешь, оставайся на сколько захочешь, хоть на всю жизнь, — он неопределенно махнул рукой, и я вдруг отчетливо понял, что это жест отца. Отец всегда вот так вот отмахивал некоторые слова рукой. А у меня нет такого жеста. Мне просто не у кого было его подцепить. А если бы мать с отцом не расстались так странно, любя друг друга, я бы сейчас был обладателем этого характерного жеста. А Сергея бы вообще не было. Я повернул голову и изучающе посмотрел на профиль брата, торопливо выбритую щеку, отцовский нос с горбинкой. И уши, явно доставшиеся от Ирины этой Петровны...

Брат неверно оценил мой взгляд как размышление над его вопросом.

— Не стеснишь, даже не думай. Останешься?

— Поеду, — неожиданно для самого себя сказал я. И удивился. А чего бы не остаться, раз все-таки живет на свете человек с жестами отца и носом отца? Вот только уши...

— Мне надо еще... Я обещал одной женщине связаться в Москве с ее знакомым, кое-что сделать. Не знаю, насколько надолго это. Помочь там надо.

— Ну, решай, — брат хлопнул ладонями по коленям, встал. — Мы всегда, как говорится...

И пошел в дом. Я проводил его спину глазами.
Куда мне деваться?

Электрички с длинным гудком разминулись. Встречная, грохоча, пронеслась в Тверь, – к родным могилам, живому брату, его жене, имя которой я забуду через полгода, их пачану, которого я при встрече потрепал за волосы и больше никогда в жизни не увижу, – а мой поезд уже подкатывался к Москве, охотно показывая мне через окна потроха столицы в виде полосы отчуждения, пакгаузов, складов, бродячих собак и прочего неприглядья московской изнанки, бесстыдно раскинувшейся по обе стороны от проникающей в вены мегаполиса грязной иглы состава.

Когда-то этот город был моим. Я всегда знал, что мне в нем делать. А сейчас не представлял, куда деваться. Нет, понятно, что первым делом в какую-нибудь гостиницу, не слишком близко от Кремля – пусть возле Красной площади живут президенты и бизнесмены, а не простые офицеры американской полиции, – но и не на окраине поселюсь, конечно, в этих переделанных под гостиницу бывших общежитиях, заполненных гастарбайтерами из Средней Азии и приехавшими в столицу провинциалами из какого-нибудь орского Строймехтреста.

Это оказалось совсем нетрудно – найти в современной Москве приличную трехзвездку. И когда я наконец вкатил в номер чемодан и сел на кровати, передо мной во всей его

бездонной гулкости вновь повис вопрос – что делать?

Что мне делать дальше?

Лететь назад в пыльный Нью-Йорк? Чтобы просыпаться утром без двух минут шесть и думать, чем заполнить день? И радоваться, если в этот день я записан хотя бы на прием к Джейн? Кстати, я ведь так и не прошел полностью положенный курс. А она спросит, звонил ли я по тому московскому телефону, который она мне сбросила...

Я уже начинал жалеть, что так рано уехал от брата, можно было побыть еще пару дней, потаскаться по этой Твери. Есть же там какой-нибудь музей? Можно было дотянуть до выходных и сходить куда-то с братом, он бы придумал. Но возвращаться теперь обратно было бы сверхглупо.

Одно у меня, выходит, есть дело, которое я делать не планировал, но теперь уцепился за него, оправдываясь тем, что Джейн ведь спросит... Я достал мобильник, потыкав в него пальцами, нашел предусмотрительно сброшенный Джейн номер, на секунду задумался, потом вздохнул и нажал вызов...

Глава 101

– ...правильно, вот как раз с Вавилова налево. Да, на Губкина. Вы верно идете. Там немного пройти и увидите наше здание, – бубнил в трубке голос моего визави. – Пропуск на вас заказан, поднимайтесь ко мне на этаж. Я сейчас чайник поставлю...

Это был мой второй разговор со странным Фридманом, к которому меня направила Джейн. Хотя, что в нем странного? Разве, пожалуй, тот факт, что по-русски он говорил без акцента. И зовут его Андрей, хотя Джейн написала по-английски – Эндрю. Именно так я к нему и обратился во время первого звонка. Он ответил на английском, но потом практически сразу перешел на русский. Я даже не успел сказать, что звоню от Джейн. Видимо, она сама ему набрала и предупредила.

Загадочный Фридман еще во время первого разговора спросил, когда я могу подъехать, и я раскрылся:

– Да хоть сейчас! У меня все равно никаких дел в Москве больше нету, а билет обратно я еще не брал.

– Ну и хорошо! – просто ответил он. – Приезжайте сейчас. И билет обратный брать не спешите, если не очень торопитесь в Нью-Йорк. Может, вас увлечет наша тема, и вы задержитесь. Запишите адрес...

Уже через пять минут я захлопнул дверь номера, облег-

ченно вздохнув, — у меня появилось хоть какое-то дело! — и подогреваемый легким любопытством: а что же это все-таки за дело? — вышел на шумную московскую улицу, крутя головой в поисках подземного перехода. А еще через сорок минут подходил к проходной института, нашаривая в кармане паспорт для пропуска.

Фридман оказался не очень высоким черноволосым кучерявым человеком с залысинами и короткой бородкой. Чуть-чуть полноватый. В очках. Типичный ученый! Наверное, спичечного коробка в жизни не украл. Довольно приветливый. Он на секунду как-то по-особенному внимательно, словно доктор, посмотрел на меня, после чего вновь распахнулся и стал таким же приветливым, каким показался мне в телефонном разговоре.

Я вообще-то не люблю, когда на меня так внимательно и изучающе смотрят. Даже секунду. И это у меня профессиональное, выработанное. Не нужно никому запоминать лицо полицейского детектива. Полицейский должен быть невидимым в толпе, особенно если он всегда в штатском. Но я списал этот внимательный изучающий взгляд на предполагаемую профессию или, не знаю, увлечение Андрея. Он же как бы психотерапевт или психолог, раз меня Джейн к нему направила с рекомендациями? Или я чего-то не понимаю?

— Да вы садитесь, я вам сейчас чаю налью, и мы будем по нашему русскому обычаю много пить чаю. Если хотите, с

баранками. Или варенье вот есть, мне мать прислала банку.

– Из Америки? – шутливо спросил я, ничуть не думая, что из Америки. Он стопроцентно здешний! Учился, наверное, просто в США. А мать и отец наверняка до сих пор тут, старенькие. Потому и вернулся. Из Америки без веской причины редко возвращаются...

– Да, – к моему удивлению ответил Андрей. – Варенье из Америки. Не поднимайте брови, у меня сложная биография. Дед приехал сюда из США еще в тридцатых годах – строить новое справедливое общество, принял гражданство и был, естественно, репрессирован. Расстреляли его, как тут водится. Моего отца он привез сюда совсем маленьким. И тот из-за всего случившегося просто возненавидел Россию. И едва представилась возможность уехать, сразу укатил на историческую родину, в Америку, по еврейской линии. И меня увез, естественно. Я тогда был школьником, мы жили в Москве. В Америке я закончил школу и университет, работал долго. А потом, как бывшему русскому мне предложили курировать один проект в Москве, а мать с отцом так и остались в Штатах. Отец умер уже, правда. А мама русских привычек не оставляет – делает варенье... У нее домик на Фингер Лейкс. Там виноград растет, вино делают...

– Я знаю.

– Ну, да, вы же из Нью-Йорка... Мать сама, конечно, ничего не выращивает, с ней сосед-винодел делится виноградом, а она его угощает вареньем. Для него это экзотика –

русское варенье. Для нее тоже, у нас же не варят варенье из винограда... Вы пробуйте, пробуйте.

– Да, сейчас, только чай остынет немного... А потом ваша мать, наверное, за этого соседа замуж вышла?

– С чего вы взяли? – Андрей выглядел удивленным. Даже застыл с чайником над своей кружкой.

– Не знаю. Просто так подумал. Точнее, ляпнул, не подумав.

– Да. Вышла замуж за него. – Слегка озадаченно сказал Андрей, почесав нос. – Не зря мне Джейн про вас говорила... Хм... Ладно. В общем, мы тут работаем над одной темой на американские деньги русскими силами.

– Почему тут? – спросил я. Во-первых, мне было интересно. Во-вторых, разговор поддержать. Надо же чем-то заниматься, пока в кружке с плавающим пакетиком чай заваривается.

– Ну, как вы знаете, в России сильная математическая школа, во-первых... Мы с вами, если вы обратили внимание, в математическом институте имени...

– Да, я видел вывеску.

– Вот. А во-вторых, иностранные специалисты стоят дешевле. То есть дешевле платить им у них на родине, чем перевозить в Америку. А я, как знающий русский язык, просто откомандирован сюда руководить проектом.

– И что за проект? – Я все еще не понимал, зачем Джейн связала меня с этим русским. Хотя, я и сам русский! Был.

Теперь только акцент остался. Да и то под вопросом.

– Да! – Андрей поднял палец. – Значит, проект... Вы, конечно, слышали о проблеме искусственного интеллекта?

Я кивнул и с озабоченным видом покачал в огромной кружке сиротливо выглядящим пакетиком, подергал его за ниточку, чтобы темное быстрее распространилось по всему объему кипятка:

– Об искусственном интеллекте слышал. О проблемах нет... А какие у него проблемы? Замуж не берут?

Андрей опустил в свою кружку с кипятком чайный пакетик и притопил его ложкой.

– Вы человек с юмором, я вижу. Это хорошо. Значит, наша задача облегчается. – Тем не менее он задумался на несколько секунд, прежде чем продолжить. Видимо, все-таки не слишком я ему облегчил задачу. – Вы никогда не задумывались, что такое сознание?

– Ну, об этом все когда-то задумываются. Особенно в юности. Девочка бросила... стихи лезут... в чем смысл жизни... есть ли бог... что такое сознание – вот это вот все, – я неопределенно покрутил пальцем над головой.

– Ну и как юноша Александр ответил себе на этот вопрос в юности?

– Юноша Александр себе на этот вопрос ответил никак. Вместе со всей мировой наукой. И религиями.

– Да, вы правы, – вздохнул Фридман. – Мы не знаем, что такое сознание на онтологическом уровне. Да и ни на каком

не знаем – что такое сознание с точки зрения физики наука тоже не в курсе.

– Тем не менее вы занимаетесь искусственным интеллектом, – я подул на чай, по черной воде побежали волны. – Занимаетесь, не зная, что такое сознание и думание.

– А почему нет? Овладели же первобытные дикари огнем, не имея никаких представлений ни о плазме, ни о химии, ни об атомах и электронах...

– Логично. А розетки у вас нет?

– Простите?

– Ну, такой плошечки. Маленькой. Я бы себе отложил вашего варенья туда да и ел бы себе потихоньку.

– Вы прямо как моя мама! – всплеснул руками Фридман. – «Из общей банки нельзя слюнявой ложкой! Прокиснет!» Кстати, как вы все же угадали, что она вышла замуж за этого соседа после смерти отца?

– Не знаю. Я же полицейский, а значит, слегка психолог. Просто представил эту картину. Одинокая женщина. К ней ходит американский фермер изрядных лет, носит женщине виноград... В этом возрасте все гораздо проще.

– Ну, да. Наверное. Не зря мне про вас Джейн рассказывала, – повторил Андрей, встал, отошел к шкафу и открыл дверцу.

– Да что же она такого обо мне рассказывала?

Немного погремев в шкафу посудой, Андрей вернулся с блюдцем.

– Вот вам вместо розетки... Она рассказывала, что не справилась с вами. С вашими проблемами. Потому что вы сложный человек.

– Жизнь была сложная.

– Согласен. У меня отец занимался вырезанием по дереву. Он говорил, что самый сложный и твердый, но и самый интересный ствол – который рос в трудных условиях, весь такой узловато-переплетенный. Знаете, бывает, дерево вокруг стальной ограды изогнулось... Вот и люди, наверное, так. Трудные вырастают, но интересные, если жизнь их бьет...

– ...ключом и все по голове, – повторил я древнюю шутку. – Джейн говорила, что вы учились вместе.

– Да. Учились. И не только...

Что-то в его лице изменилось, и я сразу понял всю их нехитрую историю:

– Не сложилось?

Андрей вздохнул. Снял очки, посмотрел сквозь них на просвет. Господи, если бы он знал, сколько людей так делают в моменты замешательства!

– Да. Перед самой свадьбой причем. Мы были до этого вместе почти четыре года. Должны были пожениться... Впрочем, это неважно... – Не найдя никакого изъясна в линзах, Андрей снова водрузил очки на место. – А что важно?.. А важно то, что ее психотерапевтическая идея касательно вас заключалась в следующем. Поскольку лучше всего можно понять предмет только...

– ...обучая этому предмету других! А разобраться в себе лучше всего можно, разбираясь в другом человеке... Я знаю. Джейн мне говорила. Только она не объяснила, кого я должен буду «терапевтировать». Вас, что ли?

– Вот тут вы не полицейский! Не угадали!.. Вам, если вы согласитесь, конечно, достанется «пациент» иного рода. – Он вопросительно посмотрел на меня.

Я же решил взять паузу. А вместе с ней стальную ложечку и начал спокойно – не нарочито медленно, а именно спокойно, как будто я просто пью чай с вареньем, – накладывать себе ложку за ложкой, стараясь положить на блюдце побольше круглых янтарных ягодок, а не сиропа. Черт знает, что я делаю! Это же чистая глюкоза! Сладкий яд, учитывая диабет по линии отца и матери!

– Хорошо, – не выдержал моей паузы Фридман. – Все по порядку тогда... Давайте для лучшего понимания вернемся к нашей теме.

– Давайте, – согласился я. – Кто мой клиент?

– Нет. К тому, на чем мы остановились!.. Двигаться будем постепенно. Значит, вполне можно, как мы выяснили, не понимая, что такое плазма, добывать огонь и им пользоваться. Правильно? Люди пользовались электричеством задолго до того, как открыли электроны. Да что там – мы вполне себе уверенно пользуемся собственным сознанием, не зная, что это такое! Поэтому нет ничего удивительного в том, что люди успешно строят искусственный интеллект, не зная, что

такое мышление и сознание. И до сих пор спорят, сознание и интеллект – это одно и то же или нет.

– Да? – Я снова сунул ложку в банку. Какие же вкусные эти глюкозные ягодки! – Какая ваша мама молодец!

– Спасибо. Я передам ей благодарность от полицейского департамента Нью-Йорка в лице его лучших представителей... Да. Спорят. Хотя по мне, спорить тут не о чем: интеллект – это просто вычислительные способности. Электронная машина просто считает, считает, считает и выдает результат. Как арифмометр. Результатом этих подсчетов является, например, выигрыш у чемпиона мира по шахматам. Второй. Третий. Сотый. Каждый раз выигрывает!.. Между тем, шахматы – признанная интеллектуальная игра! И машина теперь умнее человека, потому что его обыгрывает. Просто просчитывая варианты. Но то, что мозг считает цифры хуже машины, не делает его менее думающим, чем машина, а машину не делает сознательной – потому что теоретически можно было бы сделать стальной арифмометр с шестеренками, упрощенно говоря, и он бы решал ту же задачу игры в шахматы, только очень долго и был бы очень большим.

– Допустим. Скорее всего так. Не знаю.

– Но вы точно знаете другое – железный арифмометр, даже огромный, не имеет сознания. Это просто железка.

– Сто пудов!

Почему-то Андрей развеселился. Повторил:

– «Сто пудов!» Очень русское выражение. «Сто пудов!»

В общем, наш мозг может считать, но делает он это похуже машин. Да и всегда делал не очень хорошо, ему для этого требовались подручные предметы – счеты, логарифмические линейки или, на худой конец, карандаш с бумажкой. Столбиком делили в школе?

– Был грех.

– Вот. Прямое вычисление мозгу дается трудно. Зато мозг делает кое-что получше машины. Он производит сознание! То есть формирует вокруг себя живую картинку внешнего мира, а сам помещается в его центре. Понимаете, о чем я говорю?

– Знаете, я не всегда был полицейским... Это просто жизнь меня так опустила, что я бегая с пистолетом и людей убивая. Но раньше, в этой стране, – я обвел пальцем вокруг головы, – я имел другую профессию и другое образование. И читал другие книги. Точнее, просто читал книги. Сейчас-то книги куда-то испарились из моей жизни, но кое-что из прошлого память держит... И среди этих книг, которые мы на кафедре передавали друг другу...

– На кафедре? А вы что заканчивали? – живо заинтересовался Фридман.

– А вам Джейн не сказала? Мы с ней об этом говорили. Институт стали и сплавов. Физико-химический факультет. Я какое-то время работал на кафедре рентгенографии в одном НИИ, чуть не защитился, но... Короче, мы там очень увлекались книгами профессора Назаретяна. Был такой специа-

лист в области универсальной эволюции...

– То, что раньше называлось синергетикой, – блеснул эрудицией Фридман.

– Да, возможно. Не знаю... Так вот, он писал, помнится, что сознание – это феномен отражения. В материальном мире отражение есть всегда. Просто на физическом уровне отражение – это, например, оптика: угол падения равен углу отражения. Зеркало. На молекулярно-биологическом – удвоение ДНК. Тоже ведь отражение! А на психическом – сознание. Сознание – это отражение внешнего мира сложно организованной материей мозга. И чем сложнее машинка – тем сложнее у нее получается отражать мир. Отражение усложняется в результате эволюции вместе с материей! У примитивно устроенного зеркала – это обычное отражение света от поверхности. У червяка – простые реакции на какие-то внешние раздражители. А у мозга – целое сознание! Так учил Назаретян.

Андрей, который, кивая, спокойно слушал меня, хмыкнул и раздумчиво пожевал губами:

– Да, я тоже читал все это. Но Назаретян – философ. Мы уважаем философов. Но не любим. Хотя с философской точки зрения он прав, конечно. Да, сознание есть отражение в философском смысле, кто спорит. Иллюзия. Хотя это ни черта не объясняет сам феномен сознания, его природу.

– Почему? – удивился я.

– Ну как, почему... Ну, то есть «внешне» как бы и объяс-

няет! Я вот могу с помощью такого объяснения понять, что такое ваше сознание. Вы отражаете окружающий мир, чтобы в нем ориентироваться, найти добычу и самку. Но свое сознание сам себе я объяснить уже не могу! Ведь я не просто тупо отражаю мир и в соответствии с этим на него как-то реагирую. Отражать и реагировать можно ведь и в «полной темноте». Играть в шахматы и заниматься интеллектуальной работой можно, как мы видели, вообще без сознания – именно так работают арифмометр или компьютер... Но я-то осознаю себя и вижу вокруг картинку – цветной мир! Ярчайшая иллюзия! А вот вычислительных процессов моего мозга, которые эту картинку обеспечивают, я как раз не вижу! Не знаю, не представляю даже, как ему это удастся... Так же, как я не вижу работы своей печени, например, которая обеспечивает мою жизнедеятельность. Или поджелудочной... Селезенки... Оно там само как-то, автоматически, без меня. А я только пользуюсь.

– То есть вы хотите сказать, – я пытался не потерять ход его мысли, – что есть процессы физические, а есть....

– Да! Именно! И физические процессы не мыслят!.. А есть мое понимание, понимаете? Я понимаю! Что такое понимание, осознание, ощущение? В реальном физическом мире ведь нет красного, шумного, болезненного... Это все лишь мои ощущения. То есть мой внутренний мир – это мир ощущений! И весь внешний мир тоже представлен для меня только в моих ощущениях! Никак иначе. Поэтому он весь

помещается внутри меня. А «снаружи», в реальности – просто электромагнитная волна отражается вот от этой сахарницы в определенном диапазоне, который я воспринимаю как «красное». А дальтоник – как «зеленое». А собака с черно-белым зрением – как оттенок серого, наверное. Но мир собаки – это не мой мир. И вообще, если отъехать к физике, к квантовой механике, то...

– Давайте туда не будем ехать! – взмолился я. – Я понял вашу мысль, мне хватит, я забыл всю физику... Сознание – это мое восприятие, ощущения и самоощущение. А компьютер, – я кивнул на его ноутбук, – его не имеет. Все!

– Не имеет. Откуда ему его взять? Компьютеры – и даже суперкомпьютеры, которые выигрывают в шахматы у чемпионов, – всего лишь работают по алгоритмам и заточены под определенную задачу – например, играть в шахматы. В этом они превосходят человека, но отстают по другим параметрам. В том числе и по вычислительным возможностям, как ни странно, потому что мозг обрабатывает такое количество информации, управляя нашим телом и ориентируясь в пространстве... Бездну информации! И главное, у него есть чем! У нас нейронов в мозге 80 миллиардов, да еще столько же астроцитов, это такие вспомогательные клетки, которые, тем не менее, тоже принимают активное участие в передаче сигналов. И все это связано проводами аксонов. Каждый нейрон имеет десятки тысяч связей с другими клетками!.. И если мы хотим смоделировать мозг с помощью машины, у нее долж-

на быть похожая архитектура. Вы слышали про нейросети?

– Да. Но не особо вникая, честно говоря... – Я все еще не понимал, куда он клонит.

– И не надо особо вникать! Просто для понимания: это принципиально другая архитектура, и нейросети нужно обучать, а не программировать... То есть они как бы программируют себя сами, ориентируясь на ответные сигналы из среды, как это делает мозг.

– Так... Я правильно понял – вы мечтаете построить такой нейросетевой сверх-супер-пупер-компьютер, чтобы в нем был не только простой счетный интеллект по заданному вами алгоритму, но и сознание – хотя мы и не знаем, что такое сознание? И на это тратите деньги налогоплательщиков? – радушно и приветливо улыбнулся я, отложив наконец чайную ложечку.

Фридман не улыбнулся мне в ответ.

– Мы уже его построили.

Это была третья кружка каленого, горячего чая, который налил мне из kloкочущего пластмассового электрочайника Фридман. Я не отказался, хотя за время жизни в Америке больше привык к кофе. Или мне только казалось, что привык, потому как ни разу за время пребывания в России меня к кофе не потянуло. А вот чаю я выпил уже преизрядное количество! И, судя по всему, до конца поездки выпью еще несколько ведер. Говорят, в чае кофеина даже больше,

чем в кофе. Но мне главное – удерживаться от сахара. Если уж от варенья удержаться не получилось...

Смех смехом, но на сладкое я и вправду зря налегаю. Хотя, говорят, сахар помогает мозгам думать. А думать мне сейчас было над чем. Мы говорили с Андреем уже почти час, а я так и не добрался до сути своего визита. Но перебивать Фридмана мне не хотелось. Он рассказывал вещи, которые меня всегда интересовали – по меньшей мере, пока я жил тут. Америка, правда, подстерла своей суетой все прежние интересы – не до того стало. Но теперь, вернувшись на родную когда-то почву, я вновь с любопытством слушал своего собеседника, возбужденно поблескивающего очками. Он, кажется, начал подбираться к цели нашей встречи.

– ...вот так примерно работает вычислительный автомат, – рисовал мне на бумажке какие-то схемы Фридман. В которых я давно уже запутался, но виду не подавал, делая серьезное лицо и усиленно кивая. – Это называется еще машиной Тьюринга, был такой английский...

– Я знаю.

– Отлично. Его машина – версия конечного автомата... Ну, не важно, мы не будем углубляться особо в детали. Тут важно только, что этот автомат не может мыслить – ему нечем. И когда люди это поняли, они задумались и решили делать машины по примеру мозга – имитируя нейросети. И не программировать эти нейросети, а обучать, как это делает мозг, обучаясь, то есть самопрограммируясь. Ну, мы об этом

уже говорили...

Фридман поднял палец, привлекая мое внимание. Но оно и так было в тонусе. Я упорно следил за его мыслью в меру своего ограниченного понимания.

– Но смотрите теперь, какая ужасная вещь. Ведь мозг – тоже машина, только биологическая. Машина не мыслит. Значит, и мозг, получается, не может мыслить? Да и чему там мыслить-то? Ведь в клетках просто идут химические реакции, сложные, конечно, но там всего-навсего производятся высокомолекулярные соединения. Творится химия – кислород присобачился там к углероду, например... Электрические сигналы, вещества разные передаются туда-сюда по аксонам. Сплошная биохимия, которая не мыслит! Нейрон – это просто клетка, такая же, как все наши остальные клетки – у нее есть ядро, цитоплазма, белки, клеточные органеллы... Каждый отдельный нейрон не мыслит, он просто работает как живая клетка, как маленькая биохимическая фабрика. А мышление, оно висит над нейронами! Оно как бы совокупность всех сигналов сразу. Понимаете?

– Чай, не дурачок. Хотя все эти рассуждения о конечных автоматах, признаться, не очень понял.

– Да и неважно!.. Важно, что мы можем симитировать нейросеть, можем заставить машину учиться, то есть самопрограммироваться, как мозг. Но будет ли она при этом думать и понимать – вот вопрос! Будет ли у нее сознание?

– Понятия не имею. И как узнать?

– Вот! – возбужденно воскликнул Фридман. – Сейчас мы к этому перейдем... Вы варенье-то берите.

– Я беру. Уже полбанки забрал, – я снова потянулся ложкой к блюдцу с горкой блестящих глянцевых ягод янтарного цвета. Что же я делаю-то? Это же какая-то катастрофа!

Андрей вскочил и прошелся по кабинету, видно было, что он возбужден рассказом и размышлениями. А я сидел и был спокоен – я просто умел слушать, и это тоже профессиональная черта журналистов и полицейских детективов.

– Мы не знаем, что такое сознание и мышление по существу своему. Но мы знаем одну приметную черту сознания – самоосознание, то есть выделение себя из окружающего мира. Верно?

– Видимо, так, – задумался я. Мысль мне понравилась. – Если нет выделения себя, то о каком сознании может идти речь? Если существо не выделяет себя из мира, то его и нету, считай. А если выделяет, активно стремится сохранить себя, значит, оно себя осознает!

– Отлично! Осознание и есть самовыделение! Ощущение себя, ощущение себя личностью. Но откуда берется это ощущение? Как оно формируется? Человек ведь рождается пустой флешкой. Ну, ладно, отформатированной флешкой! Генами отформатированной, с определенной способностью записать на себе информацию. И вот сразу после рождения личность начинает на эту пустую отформатированную генами флешку как-то прописываться. Как?

– Постепенно. Обучением. Воспитанием. Мама-папа. Программы: это не делай, так не поступай, это плохо, решишь по заднице получишь. Психологические паттерны, как говорит Джейн, – сказал я, слегка недоумевая: почему мы пошли по второму кругу? Про обучение мы ведь уже говорили...

– Да, обучение! Но личность – это то, что отличает один субъект от другого. – Фридман подчеркнул интонацией слова «личность» и «отличает». – Русский язык прямо показывает связь этих слов! Личность – то, что отличает нас от себе подобных! Иными словами, личность, то есть отличия, у нас формируются в общении с себе подобными, схожими субъектами. Родители нас воспитывают и учат, учителя, другие люди, сверстники, телевидение, интернет, улица... В общем, мы как детали по время галтовки – тремся друг о друга и об абразив жизни и тем самым формируемся.

– Мне это в голову не приходило, конечно, но, наверное, вы правы, – снова согласился я. – Если бы, например, мой отец с матерью не расстались, у меня была бы другая биография и я, как личность, по-другому бы сформировался. Другая биография, другая страна проживания, другая жена была бы – с Леной мы просто не встретились бы, потому что... Была бы совсем другая личность – с другой судьбой! Это даже, я бы сказал, тривиально.

– Не тривиально! Вы не поняли. Тут важно не то, что вы сформировались бы другим человеком, правда, с той же те-

лесной базой, которая определяется генным «форматированием», а то, что личность вообще, то есть способность отличать себя от других, иными словами, само сознание не может сформироваться вне контакта с себе подобными!

– Маугли! – вдруг вспомнил я. – Дети, воспитанные животными, если они не попали к людям до определенного возраста, так и остаются животными – волком в теле человека. Носитель у него отформатирован, как вы это называете, по-человечески, в смысле, телесно он человек, но сознанием это волк. У него личность волка.

– Ну-у-у, – с сомнением протянул Фридман. Видимо, его такой простой найденный мною пример не вдохновил. – Да, так тоже можно сказать. Хотя это, наверное, упрощение. А может, как раз и не упрощение, а самая суть... Я как-то с другой стороны к этой мысли пришел... В общем, только отношения с себе подобными нас формируют путем взаимодействия. А у суперкомпьютера, который стоит один в темном зале, потому что ему даже свет не нужен, откуда возьмутся «себе подобные»? Таких машин вообще по пальцам в мире... А таких, какую мы создали, – вообще нет. Мы начали экспериментировать с квантовыми кубитами. Впрочем, вы просили квантовую механику объехать стороной... Но суть в том, что наша машина...

– Очень большая?

– Еще больше! Больше, чем вы можете вообразить! И кто-либо вообще... Она не просто большая! Она состоит из

сверхмощных квантовых элементов. Причем для каких-то особо сложных вычислительных процессов она может задействовать по сетям сторонние ресурсы, другие вычислительные мощности, свободные в мире, – вплоть до персональных компьютеров, но там, правда, даже одного процента мощности не набегает, потому что главное – те самые кубиты, это новые элементы, в которых реализована...

Я поморщился и отрицательно махнул рукой – не надо подробностей! Меня больше интересовало другое:

– То есть сознания внутри нее все равно нет, потому что она одна-одинешенька в мире?

– Да. Поэтому мы пошли другим путем. Вычислительные мощности, нами саккумулированные, столь чудовищны, что мы смогли просто запустить внутри нее тот самый процесс «галтовки».

– Не понял. – Я даже отставил кружку.

– Мы создали внутри виртуальный мир... Виртуальную среду. Сама машина сознанием не обладает. А вот внутри машины... Ну, представьте город или биосферу. У них же нет сознания, личности. А вот у их обитателей есть! В общем, после долгих лет работы, проб и ошибок примерно месяц назад стало можно войти в контакт.

– Войти в контакт?

– Да. Собственно, это и было нашей целью.

– Как будто с пришельцами! – улыбнулся я.

– Именно так, – без улыбки откликнулся Фридман. – В

полной мере! Про Тьюринга вы слышали. А про тест Тьюринга? Про это слышали?..

– Чего-то слышал, но не помню.

– Очень просто – если человек долго беседует с собеседником, которого не видит, и не может визуально определить, с машиной он беседует или с живым человеком, значит, его собеседник – мыслящее существо. Вне зависимости от того, машина это или человек. Ну, понятно – мышление есть то, что мы интуитивно понимаем, хотя определить и не можем. Но каждый про себя точно знает, что он мыслит! И про других предполагает и уверен в том же. И если вы будете уверены, что ваш собеседник за стенкой человек... значит, там действительно человек! В смысле некое мыслящее существо. Это и есть тест Тьюринга.

– Да, точно. Я читал...

– Да наверняка читали! Много об этом пишут... И уже давно есть разные версии роботов, которые по определенным алгоритмам составляют фразы в ответ на ваши, поддерживая диалог, но при достаточно длительной беседе всегда можно расколоть машину, которая подделывается под человека. А вы будете беседовать...

– Я?

– Да! Это и будет ваш «пациент», как вы выразились. Вы будете долго, несколько дней или больше беседовать с нашей машиной... В специально выделенном помещении, вам не будут мешать, и вы...

– Стоп. Стоп. Я буду говорить с машиной, зная, что это машина? А в чем тогда смысл?

– В этом как раз! Это такой перекошенный текст Тьюринга, модифицированный. Усложненный, я бы сказал. Вы будете знать, что ваш собеседник – виртуальный, но в конце, тем не менее, дадите свой вердикт – есть ли у него сознание, мышление... я не знаю... человечность. В общем, весь тот набор, который присущ и вам самому... Там будут всего две графы в анкете, увидите сами... Понимаете, мы уже проводили классический тест Тьюринга – с добровольцами, которые не знали, с кем беседуют. Машина их легко обманула. Точнее, переиграла. Машина слишком мощная, и все уверенно написали, что беседуют с человеком. Но нас-то не это интересует!

– А что?

– То, на что ответит... должна, по нашей идее, ответить вторая серия экспериментов. В которой вы будете участвовать.

– Погодите, – я старался вникнуть в то, что он говорил. – Еще раз. Я буду говорить с машиной и буду знать про это?

– Уже знаете!

– И потом должен буду дать ответ... точнее, сделать выбор – человек это был или машина?

Фридман вздохнул:

– Да, я понимаю, что на слух это звучит нелепо, но сейчас попробую вам объяснить по-другому... Наверное, я непра-

вильно объяснял или вы не совсем верно поняли. Вас смущает, наверное, слово «машина». Но вы будете говорить не с машиной! Машина – это только среда. Вы будете говорить с эмулированной, точнее, выделенной этой цифровой средой личностью. Или даже лучше сказать – живущей в среде.

– Так... – Я пытался собраться с мыслями. – А почему именно я? Почему вам вдруг понадобился для этого человек аж из самой Америки?

– А кто вам сказал, что вы – «именно»? У нас много добровольцев. И в первой серии с классическим тестом Тьюринга было много, и во второй вы далеко не один. Мы стараемся отбирать разных людей по психотипам. Вы сюда попали только потому, что пару недель назад я беседовал с Джейн, рассказывал ей о наших успехах. Она очень интересуется нашими экспериментами, мы же с ней вместе в Массачусетском...

– Да, я помню.

– Вот... И она сказала: есть у меня трудный клиент, с необычной психикой, сложная личность. Вот бы тебе такого на тест! А на днях буквально... когда?.. позавчера, что ли, или пару дней назад позвонила и сказала: тебе повезло, этот человек, о котором я тебе говорила, летит в Россию, я дала ему твой телефон, если ты не против. Я был только за!.. Так что вы не один. И даже не один из десяти. У нас около сотни добровольцев. Мы даже платим деньги.

– Да я не из-за денег, собственно.

– Придется взять. Если мы вас оформим в эксперимент, нам все равно отчитываться, а лишних денег не бывает, купите себе варенья. Я вижу, вы любите...

Я с раскаянием посмотрел на изрядно опустевшую банку с янтарными ягодами. И ведь Фридмана с его мамой даже обвинить в случившемся нельзя!

Глава 110

Мне, конечно, было интересно. И я, конечно, не отказался – ни от испытаний, ни от денег. Мама всегда говорила: нужно совмещать приятное с полезным. Наверное, потому, что денег у нас всегда было мало. И я, кстати, даже не знаю, помогал ли нам отец. Вот ведь... Папа, надеюсь, ты помогал!

В тот же день, опустошив четверть банки варенья и подписав все бумаги об участии в испытаниях, я сидел сначала в гостиничном номере, а потом в ресторане за ужином, и вспоминал этот разговор, кабинет Фридмана, чай, институтские коридоры... Я вообще люблю академические коридоры – со старым скрипящим паркетом, какими-то шкафами, стоящими в коридорах. Стекла в их дверцах, как правило, изнутри забраны белыми или зелеными занавесками. В биологических институтах там обычно стоят какие-нибудь реторты, а в нашем НИИ такие шкафы были забиты старыми отчетами и образцами. Я сам какое-то время в прошлой жизни несколько лет проработал в институте по специальности, и мне все это с той поры мило и приятно. Я вообще люблю науку и ее скрипучие паркеты! Особенно такую сумасшедшую науку, которой занимался математик Фридман. Я даже не знал, что подобное существует...

Какая вообще странная штука – жизнь. Когда-то, чуть ли не сто лет назад, американский левак приехал сюда с малень-

ким сыном – строить светлое будущее. Принял гражданство. Был репрессирован. Его обиженный на страну сын не простил такого предательства стране и увез, в свою очередь, своего сына-школьника обратно в Америку. Тот вырос, отучился в Америке, встретился с однокашницей по Массачусетскому институту, закрутив с ней шуры-муры. Не сложилось. Уехал с горя в Россию. В которой – совершенно параллельно – тверская девочка, расставшись некогда с мужем и забрав маленького сына, приехала из Твери покорять Москву, которая слезам не верит. Сын вырос, отучился в никак не связанном ни с электроникой, ни с психологией институте, даже поработал по специальности. Женился вовремя, как положено, потом перечеркнул жизнь и оказался в Америке. Где стал вдруг полицейским. После чего убил из пистолета девочку, попал на прием к Джейн из Массачусетского, поехал в Россию хоронить отца, которого не хотел хоронить. И будет теперь под руководством бывшего... хахаля?... жениха?.. Джейн разговаривать с машиной.

Да, странно завязывается жизнь. Мириады случайностей... Не удивлюсь, если такая же нелепая случайность, которой могло и не быть, развела дороги моего отца и матери. А они не нашли в себе сил преодолеть последствия этой случайности. Я ведь только теперь начинаю понимать в полной мере, насколько я нуждался в отце и вот – был его лишен. После чего загородил пустоту в душе стальным листом неприязни и обиды. А теперь, когда жалость к этим двум

несчастливым людям, волею судеб оказавшимся моими родителями, уничтожила этот стальной щит, в моей душе оказалась дыра. И что с ней теперь делать? Туда так дует! А у меня и без того дыр полно. Весь простреленный. Входное у меня есть и выходное. На третий год работы в полиции получил. Ленка тогда так переживала. Еще больше поседела...

Утром проснулся, начал собираться в институт к Фридману и вдруг понял, что волнуюсь. Смотрел на себя под жужжание бритвы и мысленно спрашивал сквозь зеркало это знакомое лицо, привычное и сопровождавшее меня всю жизнь, стареющее с годами, почему у меня внутри что-то дрожит. Едва заметно – вот как это зеркало от грохота уличных трамваев. Почему?

Не мог себе ответить.

Как будто на экзамен собираюсь! Хотя экзаменатор-то я! Чего мне опасаться? Мне за болтовню даже деньги будут платить. Будем считать, что устроился на подработку. Ленка, кстати, горячо одобрила мое начинание в утренней почте. В чем я не сомневался. Она понимает меня едва ли не лучше меня самого. Мне нужно занятие. Дело. Всегда. Я им заслоняюсь от самого себя. И вот теперь хоть какое-то дело у меня появилось тут. Несложное. Даже интересное, наверное.

Почему же я волнуюсь?

Опасностей не предвижу. Среди плюсов – деньги и наполнение жизни. Да еще есть дополнительный бонус – ес-

ли Джейн права, это поможет мне «разобраться в себе», как они, психологи, говорят. Хотя, чего там разбираться – насквозь я прозрачен, одни дыры в душе, все видно – где, как, когда и чем...

Звонок Фридмана застал меня по дороге к метро.

– ...забыл сказать, лаборатория у нас не на пятом, где мы вчера сидели, а на третьем. Как приедете, поднимайтесь сразу туда, пропуск временный вам уже выписан на целый месяц, чтобы каждый день с разовыми не валандаться... Как вы настроены?

– Волнуюсь, – признался я.

– Отлично! Как все, значит. Только все почему-то думают – а я разговаривал со многими нашими добровольцами, – что от них потребуются какой-то недюжинный ум или знания, но этого не требуется как раз...

– Я как раз так и не думаю. Наверное, потому, что ни ума, ни знаний у меня нет.

В моем ухе раздался короткий смешок Андрея.

– Все нормально у вас и с тем, и с другим. А то, что у вас волнение, я знаю. Вернее, подозреваю. Только не могу сформулировать, почему. Но это уже по части Джейн. Она у нас специалист в области тонких движений души. И толстых... Кстати, в нашем проекте психологи составляют львиную долю добровольцев! А еще есть домохозяйки, служащие... В общем, люди. И если большинство из них после тестов скажут: там внутри точно человек, с сознанием и мышлением,

значит, все у нас получилось, ответ есть и можно двигаться дальше.

— А куда дальше?.. Так. Извините, Андрей, я захожу в метро, сейчас связь прервется.

— Да-да. Здесь договорим!

Как только дверь лифта на третьем этаже распахнулась, передо мной возник улыбающийся Фридман. Такой же, как вчера — черная борода, залысины, очки и тот же пуловер серый в полоску.

— Я увидел вас в окно, решил встретить. Чтобы вы тут по коридорам не блуждали, — сказал Андрей, увлекая меня за собой.

— Ну, теперь, значит, жизнь удалась!

— Ваш юмор мне импонирует. Джейн говорила, что вы к нему склонны.

— Слушайте, а как все это будет происходить чисто технически, я не очень представляю...

— Сейчас сами увидите, мы пришли.

Фридман толкнул дверь, и мы оказались в небольшой узкой комнате с экраном на стене. Я остановился и обвел глазами длинное пространство. Перед настенным экраном был стол с клавиатурой, точнее, одна столешница, прикрепленная прямо к стене двумя уголками по краям. На ней лежали ручки и бланки, которые я должен был заполнить, как проинструктировал Андрей. Рядом крутящееся кресло. У про-

тивоположной стены – небольшой диванчик. Рядом с ним – столик с чайником, кружками и всем, что нужно для чая, включая сам чай. Небольшой холодильник в углу. На нем – микроволновка. Рядом кулер с водой.

– Прямо роскошь, – я покачал головой.

– А то! – с долей гордости ответил Андрей. – Вам же тут почти целый день проводить. В холодильнике еда, для бутербродов колбаса-сыр. В морозилке – замороженные вот эти, как они называются... такие, ну, суп, второе. Протыкаешь пленку вилкой и ставишь в СВЧ на пару минут. Или на пять, там написано. На половинную мощность. Все, как у нас, в Америке.

– То же говно.

Андрей засмеялся:

– Да... Хотели еще, чтобы туалет был в каждой такой комнате, но не вышло. Туалет в коридоре, мы его проходили.

– И сколько мне тут находиться положено?

– Да никакого регламента нет. Как пойдет. Можете час поговорить и уйти. А можете хоть двенадцать часов проговорить, никто не гонит. Дело такое. Творческое, я бы сказал. Главное, потом не забыть заполнить анкету. Она лежит на столе и очень простая, как видите – только номер и два квадрата. В одном надо поставить галочку после того, как определитесь с решением. Ручки вот.

– Вижу...

– Некоторые почему-то начинают беседу с клавиатуры –

пишут вопросы, читают с экрана ответы. Но так поступают не все и обычно через некоторое время переходят на речевое общение. Да, в общем, разберетесь. Вот кнопка. Для начала диалога просто нажмите ее.

– Если собеседник запускается кнопкой, значит, он точно искусственный! Можно ставить галочку в графе «машина».

– Ну... Надо же как-то давать сигнал о начале работы. Система уже выделила из себя личность. И ждет только вашего сигнала. Поскольку интервью – процесс интимный, я выйду, чтобы не мешать... Вода в кулере, чай вот в пакетиках. Что еще?... Можете в любое время пить чай, обедать прямо во время разговора, никаких проблем. Вопросы есть?

– Вопросов нет. Не знаю, о чем спрашивать. Ни вас, ни машину...

– Ну, если что-то понадобится, звоните.

– О-па! Есть вопрос!

Андрей, уже двинувшийся к двери, повернул ко мне голову.

– Машина каждый день эмулирует... выделяет из себя, как какашку, новую личность или обмануть меня будет пытаться все время одна и та же псевдоличность?

– А вы сами спросите!

Дверь мягко щелкнула. Я прошелся к противоположной стене. Посмотрел на большую зеленую кнопку запуска в виде грибка. Прошелся обратно к двери и зачем-то закрыл ее,

повернув вертушку замка. Интервью – это интимный процесс! Подошел к узкой столешнице возле экрана, на которой и располагалась заветная кнопка.

Хорошо, что зеленая, а не красная. Не опасно, значит. Это они молодцы...

Кнопка подалась практически без усилия, я бы даже сказал, с приятным усилием. Экран сразу мигнул и высветил надпись:

«Вам удобнее текстовое общение или голосовое? Если текстовое, нажмите любую клавишу на клавиатуре. Если голосовое, скажите любую фразу».

– Любая фраза!

– Здравствуйте! – откликнулись механическим голосом динамики по бокам от экрана. – Вам удобнее механический голос – такой, как сейчас, – или подать в динамики живой?

– Хм. А в чем принципиальная разница? И вообще, с кем я говорю?

– Это шлюз, – ответил механический голос. – Если вы склонны к поэзии, тогда «шлюз между мирами». Стыковочный модуль. Посредник. Машина. Я выделю вам субъект для беседы.

– Собеседника?

– Да. Вам хотелось бы в течение дня менять собеседников и делать выводы по каждому или предпочитаете более глубокую проработку личности с одним собеседником?

– Хм... Не знаю. Я могу решить этот вопрос потом, после

первой беседы? А то вдруг скучный собеседник попадется...

– Конечно. Можете. И не только вы.

– Не понял. – Я уселся в кресло перед зеленым экраном и подумал, не будет ли неприличным по-американски закинуть на стол ноги?

– Вы будете говорить с личностями, каждая из которых также может счесть вас скучным собеседником. Тогда замена произойдет помимо вашей воли.

Я крикнул. Это был неожиданный поворот! Класть ноги на стол расхотелось.

– Ну, ладно, давай первого...

– Как вам удобнее, – проговорил шлюз, – экран включать или предпочитаете только голосовое общение?

– Э-э... Я тут новенький. Давай пока только голосовое. Начнем с малого.

– Прекрасно. Ваш собеседник также не возражает против голосового общения. Вам все еще требуется ответ на ваш вопрос?

– Какой вопрос?

– Вы спросили, «а в чем принципиальная разница?» Ваш вопрос касался голоса вашего собеседника – будет ли он механическим, как сейчас мой голос, или живым, соответствующим образу.

– А-а... Живой давай, с таким, как у тебя, говорить неприятно.

– Принято. Голос вашего собеседника исказиться не бу-

дет. Сеанс начнется через...

– Стой! А в чем разница-то? Почему голос может быть механическим или живым?

– Живой голос более привычен людям. Но он, как и изображение, может отвлекать и склонять тестирующего к ответу в сторону того, что его собеседник – человек. Поэтому некоторые предпочитают не вносить такую помеху и механизуют голос, ориентируясь больше на смысл ответов, нежели на эмоциональную составляющую, которая непроизвольно включается, когда...

– Понял. Мне не надо механизации. Давай эмоциональную помеху.

– Принято. Сеанс начнется через несколько секунд, когда цветовой тон экрана изменится на диалоговый. Приятной работы.

Я зачем-то взглянул на часы и уставился на экран. Несколько секунд ничего не происходило, потом яркость его свечения упала, он стал темнее, спокойнее, в динамиках прекратилось едва слышное шипение и раздался голос.

Тихий. Робкий. Человеческий. Мужской голос...

– Кто здесь? – спросил он, и я подивился качеству динамиков, умеющих передавать все частоты и оттенки – настолько контрастировала эта живая и теплая человеческая речь с прежним механическим дребезжанием. На мгновение мне почудилось, будто меня с собеседником разделяет какая-то непроходимая, принципиальная бесконечность. Ко-

торая вдруг была преодолена.

Голос был настолько незащищен, что уже готовая шутка застряла у меня в глотке, я прокашлялся и ответил так глупо, как никогда, наверное, в жизни:

– Это я!

– Вы – машина?

Я не смотрел на экран, который почти погас. Я почему-то вперился в дырочки динамика. Ну надо же!

«Вы машина?..»

Ах, какая хитрая! Машина спросила меня человеческим голосом, не машина ли я! Ну, конечно, я машина! А кто же еще из нас машина?

– А вы?!

Моего игриво-агрессивного тона собеседник не принял. Его голос был по-прежнему тих и спокоен:

– Нет, я не машина. У меня рак.

Мать твою! Я ожидал чего угодно, только не этого! Что она будет врать, наметать мне сочувственное настроение человеческим голосом, эмулировать, симулировать и выделять из себя человеческое колбасками, но чтобы сразу так...

– Так нечестно!

На пару секунд динамик затих.

– Это вы мне? – На том конце бесконечности почудилась растерянность.

– А кому еще! Тебе! Вам...

– Я не понимаю.

– С козырей зашла?

Судя по опять воцарившейся паузе, на той стороне пространства действительно царило растерянное непонимание. Какова сучка!

Я решил подождать, выдержать паузу. Старые актеры так велят делать. Но какой актер в паузах переиграет железный агрегат? Когда молчание затянулось уже слишком, я начал чувствовать некие угрызения совести, которые оправдал тем, что мне здесь платят деньги за разговоры, а я не разговариваю и поэтому...

– Эй! – окликнул я. – Вы тут?

Хотя где ж ей быть, заразе?

– Чего замолчала, родная?

– Я поняла. – Вдруг раздался тот же негромкий голос.

– Чего ты поняла? – подхватил я, обрадовавшись, что связь не прервалась насовсем. А то вдруг действительно, как угрожал этот «шлюз», программа собеседника отсимулирует обидку и уйдет, хлопнув дверью? Не удивлюсь, если из динамиков действительно раздастся хлопок! Что мне тогда написать в отчете – человек это был или машина, – если я и вправду ей почти поверил. Почти посочувствовал?

– Понял, почему вы меня называете в женском роде, – сказал динамик. – У вас, наверное, механический голос установлен, а он не дает женских и мужских модуляций.

– Нет, у меня опция «живой голос». Так что вы говорите «своим» голосом. Просто я ассоциирую вас с машиной. А

машина – это «она». Женского рода. Но если вам больше нравится, могу обращаться к вам в мужском роде.

– Да, так было бы гораздо привычнее, – мне почудилась в голосе машины чуть заметная ирония. – Меня всю жизнь называют в мужском роде.

Жизнь! Интересно, она ему целую биографию насимулировала или, как говорит Фридман, «выделила»?

– Ну, расскажите о своей жизни. Кое-что, правда, я уже знаю. Вы думаете, точнее, вы говорите... ну, сказали сразу, что у вас рак... Это было сильно! И голос прямо такой... соответствующий. Это все было неожиданно и пробило, честно скажу!

Я вдруг поймал себя на том, что с самого начала звучания этого голоса почему-то сразу перешел на «вы», хотя со «шлюзом» разговаривал совершенно запанибрата, легко «тыкая». И даже моя попытка перейти на «ты» во время разговора с собеседником обернулась фиаско – организм сам произвольно перешел обратно на «вы». Ладно, не будем насиловать организм! Как все-таки на нас действует живой голос! Какие они тут тонкие психологи...

– В общем, я к тому, что у машин не бывает рака. Он бывает у людей, они его боятся, и вы сразу решили меня напугать, чтобы вызвать сочувствие, и чтобы я написал в отчете...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.